

Глѣбъ Успѣнскій.

Выходъ въ свѣтъ книги «Что читать народу» явился для насъ настоящимъ тріумфомъ: не было, кажется, ни одного журнала, ни одной газеты, которые не отозвались бы восторженно на этотъ трудъ. Исключениемъ въ данномъ случаѣ явился «Гражданинъ», обрушившійся такой рѣзкой, такой желчной статьей въ формѣ доноса, что, прочитавши ее, я въ тотъ же день выѣхала въ Петербургъ спасать книгу. Но когда я приѣхала туда, встревоженная и полубольная, друзья мои успокоили меня, что фонды «Гражданина» сильно упали за послѣднее время и что онъ скомпрометировалъ себя даже въ высшихъ сферахъ. И дѣйствительно, эта грозная статья не оказала ни малѣйшаго давленія на книгу: ее такъ же быстро раскупали, такъ же хвалили, какъ и прежде.

Изъ всѣхъ критическихъ отзывовъ о ней, одинъ произвелъ на меня самое глубокое впечатлѣніе. Это былъ отзывъ Глѣба Успенскаго съ такой характеристикой: «Книга «Что читать народу?» — манна небесная въ нашей изсушающей душу жизненной пустотѣ».

Я много и долго думала надъ этой статьей и, въ концѣ концовъ, почувствовала непреодолимое желаніе написать этому человѣку и разсказать, въ какомъ именно кружкѣ возникла мысль о составленіи книги, кто и какъ работалъ надъ нею и какой характеръ носить на себѣ школа, создавшая его.

Вотъ что отвѣчалъ онъ мнѣ:

Чудово, Н. ж. д. 4 марта 85 г.

«Милостивая Государыня
Христина Даниловна!

«Простите меня великодушно за такой поздній отвѣтъ на ваше письмо: я былъ нѣкоторое время въ отлучкѣ изъ

дома, въ Москвѣ и въ Петербургѣ, и только на-дняхъ возвратился въ Чудово.

«Съ истиннымъ удовольствиемъ прочиталъ я странички изъ дневника вашей школы. Но въ послѣднихъ строкахъ этого дневника и вашего письма мнѣ почудилось что-то такое, что заставляетъ думать о нѣкоторомъ утомлениі или сомнѣніи, испытываемыхъ вами теперь, относительно вашего дѣла. Если это такъ, то мнѣ кажется, что вы ошибаетесь, полагая найти поддержку своему дѣлу въ такихъ результатахъ его, которые бы «воочію» убѣждали васъ въ его плодотворности. Напротивъ, я думаю, что «воочію»-то меныше всего можно разсчитывать на какое-нибудь удовлетвореніе и успокоеніе. Чего стоитъ участь вашихъ ученицъ, послѣ того, какъ онѣ оставляютъ школу и начинаютъ жить среди всевозможныхъ случайностей, и вы не можете не думать и не печалиться обѣ этой участіи: талантливая, умная дѣвушка на вашихъ глазахъ можетъ попасть Богъ знаетъ въ какое положеніе, и вы ничего не въ состояніи сдѣлать для нея. И такихъ заботъ, которыя *должны* непремѣнно тяготить вашу мысль и которыхъ въ то же время вы, за предѣлами вашей школы, не можете устранить ни въ какомъ случаѣ,—въ вашемъ дѣлѣ должно быть Богъ знаетъ сколько, несмѣтное множество, неизмѣримо больше тѣхъ «отрадныхъ явленій», которыя вѣсъ могутъ поддержать. И пока другія общественные учрежденія, вслѣдъ за школой, имѣющей въ основаніи вполнѣ отсутствіе самой тѣни фалшивыхъ отношеній къ человѣку,—не получать возможноти также по возможности безъ фальши относиться къ дальнѣйшей участіи человѣка, оставившаго школу и вступающаго въ жизнь, до тѣхъ поръ, пока, положимъ, во всѣхъ этихъ земствахъ и думскихъ дѣлахъ не получится возможность добросовѣстному человѣку дѣлать что-нибудь простое и нужное именно «для человѣка»,—до тѣхъ поръ едва ли будетъ возможность разсчитывать на обиліе отрадныхъ результатовъ и вашего дѣла. И при настоящемъ положеніи дѣлъ вообще, невозможно даже и предвидѣть, когда жъ, наконецъ, начнутъ оживать другія, непосредственно слѣдующія за школой, общественные учрежденія?

«Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы одно изъ жизнѣвь общественныхъ учрежденій, школа могла бы заглохнуть потому, что хорошее начало не имѣть въ практической жизни такого же хорошаго продолженія. Хорошее начало школы должно имѣть продолженіе въ самой школѣ, и въ этомъ смыслѣ то, что вы дѣлаете, имѣть огромное значеніе для школы *вообщѣ*, хотя, быть-можетъ, и не принесеть вамъ никакихъ иныхъ результатовъ, «воочію» убѣждающихъ вать въ успѣхѣ дѣла, кромѣ успѣшной распродажи вашей превосходной книги. Книга ваша — вотъ результатъ вашихъ трудовъ, и успокоеніе ваше только въ томъ, что вы этою книгою *вообщѣ* внесли новыя черты въ школьнное дѣло. Но то, что вы сдѣлали, — это *начало*, — отличное, превосходное и такое же у этого начала должно быть и продолженіе и также *въ школѣ*. Книга «Что читать народу?» вносить въ русскую народную школу, во-первыхъ, новизну отношений учителя и ученика, ставя ихъ на настоящую точку; отношения эти непохожи на родительскія, непохожи и на наставническія, непохожи вообще на установившіяся отношения учителя къ ученику, старшаго къ младшему, наставителя къ наставляемому, — а прямо товарищескія, основанныя на простомъ желаніи «съ удовольствиемъ» удовлетворить отвѣтомъ того, кто меня о чѣмъ-нибудь спрашивается. Другая также въ высшей степени важная и существенная черта, отличающая вашу школу — это вниманіе къ учащемуся, какъ къ человѣку; школа ваша не торопится отдѣляться отъ человѣка, научивъ его писать, читать, считать и выпустить потомъ на всѣ четыре стороны, не обращая вниманія на то, что у него на душѣ и какова его душевная жизнь. Именно отъ того-то, что эта душевная жизнь человѣка не принимается во вниманіе нашей заурядной школой, — человѣкъ, выйдя изъ нея, почти на другой день уже забываетъ и читать, и считать. Между человѣкомъ и книжкой нѣть никакой связи, а именно эта связь и нужна. Человѣку, выйдя изъ «ученья», надо знать, «какъ жить» на свѣтѣ и точно такъ же, какъ и гр. Толстому и всякому образованному человѣку надо знать, что дѣлать, что хорошо, что нехорошо. Наши сектанты, *народъ*,

простые мужики,— предпочитают учиться по-своему, не по-школьному, и учатся для того, чтобы знать, какъ правильно, справедливо жить надо на свѣтѣ; это *первое*, а по-томъ ужъ и ариѳметика и т. д. *Начало* сдѣлано вашей школой превосходно,— вполнѣ по-человѣчески,— нужно такое же и продолженіе, т.-е. нужно развивать типъ вашей школы, нужно перерабатывать самостотельно тотъ огромный педагогический материалъ, который у васъ подъ руками, въ смыслѣ удовлетворенія потребности учащагося знать, что правда въ человѣческихъ отношеніяхъ и что не-правда. Въ этихъ видахъ ваша дѣятельность должна бы продолжаться не въ практической школьной работѣ (которая могла ужъ васъ утомить и которую могутъ дѣлать люди начинаяющіе), а въ литературномъ дѣлѣ школы. Если бы вы продолжали печатать «Что читать народу?» періодически, превративъ его въ журналъ, который бы старался выработать планъ систематического ученья, въ которомъ бы было, во-первыхъ, *главное*—(для чего человѣкъ живеть и какъ долженъ жить) и во-вторыхъ, прикладное къ этому главному—собственно наука, научныя знанія и свѣдѣнія,—то работы самой живой и плодотворной оказалось бы у васъ великое множество. Меня давно занимаетъ мысль осуществить эту программу въ видѣ хотя бы *книги для чтенія* въ народной школѣ, гдѣ бы описание крестьянского домика, неизвѣстно почему, не продолжалось описаніемъ зайца, вслѣдъ за которымъ, также неизвѣстно почему, идетъ разговоръ про Христа и т. д. А съ *первой же* страницы касалось бы самаго серьезнаго,—какъ жить свято (хотя бы въ видѣ, самымъ лучшимъ образомъ, написанной біографіи и ученія Христа), затѣмъ переходило бы къ дѣйствительности, и все, что въ ней *не свято*, должно бы быть выставлено во всѣхъ подробностяхъ; огромный материалъ деревенской жизни, заимствованный изъ лучшихъ русскихъ писателей тутъ много бы помогъ дѣлу и нарисовалъ бы такую картину, которая ясно показала бы, какъ трудно и дѣйствительно плохо жить и какъ много неправды. А затѣмъ началось бы все, что можно сказать о существующемъ хорошемъ; община, о которой *надо* говорить въ училищѣ и т. д. И эта книгу

надобно непремѣнно написать и издать. Извините меня, пожалуйста, за это торопливое письмо. Позвольте засвидѣтельствовать вамъ мое самое искреннее и глубокое уваженіе.

Глѣбъ Успенскій».

При поѣздахъ своихъ въ Петербургъ я неразъ наѣялась на личное знакомство съ Глѣбомъ Ивановичемъ, тѣмъ болѣе, что въ числѣ моихъ друзей былъ Ф. Ф. Павленковъ, но мнѣ это какъ-то не удавалось, что видно изъ слѣдующаго письма.

Чудово. 14 янв. 87 г.

«Искренно уважаемая
Христина Даниловна!

«Не могу выразить вамъ того глубочайшаго огорченія, которое я испыталь вчера, получивъ въ чудовской конторѣ ваше заказное письмо, пролежавшее тамъ болѣе мѣсяца. Я не живу въ Чудовѣ съ августа, и въ чудовскую контору съ тѣхъ поръ не высылають на мое имя ни писемъ, ни газетъ — ниоткуда. Втеченіе всей осени я только въ октябрѣ (да вотъ теперь) заглянуль сюда. Какъ я ужасно, ужасно сожалѣю, что не видѣлъ васъ, когда вы были въ Петербургѣ! Все время былъ тамъ и я и только въ декабрѣ, 17 и 18, ѻздилъ въ Москву менѣе, чѣмъ на сутки. Я давно, давно и много разъ желалъ повидаться съ вами, чтобы лично засвидѣтельствовать вамъ мое глубокое уваженіе и, быть-можеть, поговорить съ вами, немнogo ободриться для работы, которая уже, какъ видите, идетъ плохо и вяло. Быть-можеть, это мнѣ удастся сдѣлать въ недалекомъ будущемъ, и, если состоится моя предполагаемая поѣздка въ Новороссійскій край и вообще на югъ, то я непремѣнно буду видѣть васъ, чтобы поблагодарить васъ за ваше вниманіе, которое вы мнѣ выказываете и котораго сейчасъ я, къ сожалѣнію, не заслуживаю. Не знаю, отчего это, но опускаются руки работать! А въ народной именно жизни въ настоящемъ времени такая масса новыхъ и живыхъ явле-

ній, которыхъ въ ней давно не бывало. Тутъ бы и работать, но—увы!—безъ идей плохо. Радь бы я былъ, если бы это было временное утомлѣніе, да тянется-то оно ужъ очень долго.

«Какъ жаль, какъ жаль, что я не видалъ васъ! Ни книжки, ни вашей статейки, приложенной къ письму, я не читаль еще. Все это я беру въ Петербургъ и тотчасъ же буду вамъ писать оттуда, а пока желаю вамъ всего хорошаго и прошу вѣрить моему искреннѣйшему къ вамъ уваженію.

Г. Успенскій».

Наконецъ, знакомство наше состоялось: я увидала худощаваго человѣка высокаго роста, со впалой грудью, съ блѣднымъ страдальческимъ лицомъ и съ такими чудными, глубокими, печальными глазами, которые запечатлѣваются въ душѣ навсегда. Мнѣ казалось, что въ этихъ глазахъ отразилась, какъ въ зеркалѣ, вся его страдальческая жизнь, вся народная скорбь, которую такъ чудесно изображалъ онъ въ своихъ разсказахъ. Сердце мое наполнилось какой-то бесконечной грустью, какимъ-то безотчетнымъ предчувствіемъ, что дни этого человѣка сочтены и тяжкій недугъ коварно подкрадывается къ нему, и я какъ-то печально и растерянно стояла предъ нимъ, не находя словъ...

Когда люди встрѣчаются въ первый разъ послѣ оживленной переписки, они обыкновенно улыбаются, желая выразить тѣмъ самымъ радость встрѣчи и привѣтъ, но на этомъ печальному лицѣ улыбки не было. Я не видѣла ея ниразу втеченіе нашего продолжительного разговора. Онъ говорилъ о современной дѣйствительности, о деревнѣ, о стѣснительныхъ условіяхъ цензуры и т. д.

Въ непродолжительномъ времени послѣ встрѣчи моей съ Глѣбомъ Ивановичемъ его петербургскіе друзья рѣшили чествовать двадцатипятилѣтіе его литературной дѣятельности. Предложеніе принять въ этомъ участіе было получено и у насъ, на югѣ. Харьковъ принялъ это предложеніе съ особенной горячностью. Образовалась цѣлая комиссія, въ которой рѣшено было послать ему адресъ. Составить этотъ адресъ вызвалось нѣсколько человѣкъ на конкурсъ,

и я чувствовала себя совершенно счастливой, когда адресъ, составленный мною, былъ признанъ единогласно наилучшимъ и отправленъ Глѣбу Ивановичу.

Въ непродолжительномъ времени послѣ этого я получила отъ него слѣдующее письмо:

«Какъ же мнѣ благодарить васъ, глубокоуважаемая Христина Даниловна? Я вижу ваше дѣятельное участіе въ этомъ неожиданномъ для меня торжествѣ,—полученіи такихъ превосходныхъ ободряющихъ меня адресовъ, которые присланы мнѣ «съ юга». Не думаю, чтобы все это сдѣлалось безъ вашего участія; быть-можетъ, мнѣ прислали бы привѣтствіе нѣкоторые изъ моихъ читателей—тѣмъ бы дѣло и кончилось. Но вы сдѣлали въ моей жизни неизгладимое воспоминаніе о такой многозначительной минутѣ, какую въ другой разъ едва ли придется пережить, но которую никогда, во всю жизнь, невозможно забыть. Всю жизнь сохраню и я въ глубинѣ моего сердца искреннюю, бесконечную къ вамъ благодарность.

Преданный вамъ всей душой

Глѣбъ Успенскій.

6 февр. 88 г.

Въ отвѣтъ на это письмо я написала ему, что онъ слишкомъ преувеличиваетъ мои заслуги въ этомъ дѣлѣ, что въ кружкѣ нашемъ было немало людей, относящихся къ нему съ той же горячностью, какъ и я, и что онъ по справедливости долженъ благодарить не одну меня, а и этихъ людей, и я приложила даже нѣсколько харьковскихъ адресовъ.

Онъ отвѣтилъ мнѣ на это слѣдующее:

21 янв. 88 г.

«Простите, глубокоуважаемая Христина Даниловна, что я тотчасъ по полученіи вашего письма не поспѣшилъ отвѣтомъ. Была неотложная работа. Но и не въ ней дѣло, а въ томъ затруднительномъ положеніи, въ которомъ я находусь относительно необходимости отвѣтить печатно на полученные мною адресы. Я положительно боюсь дѣлать это такъ, какъ бы хотѣль. Теперь, какъ, вѣроятно, вамъ

извѣстно, приготвляется изданіе въ 10 т. моихъ книгъ, дешевое въ 3 р., и не обрати я на себя особеннааго вниманія начальства,—это изданіе пройдетъ въ цензурѣ незамѣченнымъ. Но если я позволю себѣ обратиться съ благодарностью къ обществу въ томъ объемѣ, какъ я хотѣль это сдѣлать, то, увѣряю васъ, я тотчасъ же сдѣлался бы самою примѣтною личностью въ глазахъ петербургскаго начальства, и съ меня бы не спускали глазъ. Вѣдь адресъ Оресту Миллеру, составленный въ жен. кур. послѣ того, какъ онъ вышелъ изъ Унив., отобранъ и отобранъ грубѣйшимъ образомъ,—просто обыскивали ящики въ столахъ и рвали бумаги. Вы не знаете, что это за ужасное мѣсто—Петербургъ. Вотъ почему я все время не могъ ничего путнаго придумать и положительно измучился: я знаю, знаю, что мнѣ отвѣтить надо, но погубить дешевое изданіе — также мнѣ крайне жалко.

«И вотъ что я придумалъ:

«Такъ какъ благодарить общество и ссылаться на 25-лѣтній юбилей невозможно, запрещено (юбилей 19 февр. не могъ быть празднуемъ),—то я рѣшился придаться къ избранію меня почетнымъ членомъ Общ. Люб. Росс. Слов. въ Москвѣ. Его мнѣ теперь благодарить надо, и вотъ я написалъ туда большой отвѣтъ, который, когда его напечатаютъ (въ «Рус. М.» и въ «Рус. Вѣд.»), будетъ прямымъ отвѣтомъ всѣмъ высказавшимъ мнѣ сочувствіе. Но прямо этого мнѣ сказать опять-таки нельзя, не у мѣста, и долженъ былъ сдѣлать *примѣчаніе*, въ которомъ перечислилъ *кстати* всѣ присланые мнѣ адресы,—прибавилъ и особую благодарность. Это все крайне прискорбно, но ничего иного сдѣлать было нельзя, и даже самое слово *адресъ* пришло замѣнить словомъ *письмо*. Что прикажете сдѣлать! Но вотъ что я скажу еще: какъ только выйдутъ въ свѣтъ мои 10 книгъ,—это будетъ около октября мѣсяца, я тотчасъ же напечатаю (въ томъ же форматѣ и тѣмъ же шрифтомъ) въ 1 печ. листъ брошюру, специальнѣо обращенную къ публикѣ, гдѣ отвѣчу ей самыемъ достойнымъ образомъ. И брошюра эта будетъ бесплатно прилагаться къ 10 томамъ, а въ такія мѣста, какъ Харьковъ, Одесса, Москва, я разошлю ее въ боль-

шомъ количествѣ экземпляровъ «на память». Вотъ, что я могъ придумать.

«Нѣтъ, Христина Даниловна,—вы, вы непремѣнно приняли въ этомъ дѣлѣ большое участіе. Я радъ и благодаренъ всѣмъ,—но васъ благодарю больше всѣхъ.

«Въ послѣднее время я очень утомленъ, именно безпрестанной, втеченіе двухъ лѣтъ, подцензурной работой. Главная въ ней работа, чтобы не написать того, что надо и что хочешь,—а это дѣйствуетъ убѣйственно. Я чувствую это на себѣ и боюсь, что разъ утраченное, умышленно умерщвленное—не оживетъ. Вотъ въ чемъ моя бѣда. Свиրѣпствуютъ цензоры и въ безцензурн. изд., но писатель-то, работая для нихъ, можетъ самъ не стѣсняться въ работѣ,—«вырѣзыай, моль!» А здѣсь заранѣе, какъ только взялъ въ руки перо, ужъ надо думать, чтобы ослабить свою мысль и задачу. Это ужаснѣшее дѣло, гибель и особливо теперь, когда мнѣ надо и можно писать не пустяки. Вотъ моя участіе! Всю жизнь такъ-то. Когда мнѣ именно хочется и я желаю работать дѣльно, тутъ-то я по тысячѣ причинамъ долженъ урѣзывать себя во всѣхъ отношеніяхъ: вотъ даже по совѣсти отвѣтить не могу на адресы и долженъ подавлять въ себѣ то, что желалъ бы сказать.

«Будьте здоровы, глубокоуважаемая Христина Даниловна. Всего вамъ хорошаго желаю и еще разъ безконечно благодарю. Преданный вамъ душевно

Г. Успенскій».

«Глѣбъ Успенскій погибъ!.. Ужъ слишкомъ терзала его жизнь!.. Но я счастлива, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что много лѣтъ тому назадъ пріобрѣла его чудесный портретъ работы извѣстнаго художника Ярошенко и что эти глубокіе, проницательные глаза попрежнему печально смотрятъ мнѣ въ душу.

Изъ дневника 1878 года.

Школа прежде и теперь.

Замѣтка для собранія учительницъ 6 февраля 1878 г.

Исторія нашей школы, озаглавленная С. И. Миропольскимъ «Школа и общество», вызвала много оживленныхъ толковъ: говорили, что онъ пристрастно отнесся къ школѣ, что преувеличилъ ея достоинства, опоэтизировалъ лица, опустилъ недостатки и промахи и нарисовалъ такой свѣтлый, такой лучезарный портретъ, въ которомъ очень трудно узнать оригиналъ.

При упоминаніи о портретѣ мнѣ пришло на умъ слѣдующее сравненіе: случалось ли вамъ видѣть портретъ возмужалаго человѣка, когда онъ былъ юношой. «Неужели это вы?» говорите вы, не вѣря глазамъ. Куда дѣвался этотъ свѣтлый, полный задора взглядъ, эта самонадѣянная улыбка, это общее выраженіе трепетнаго ожиданія жизни?.. Передъ вами спокойное, сосредоточенное лицо; все на этомъ лицѣ опредѣлилось и выяснилось; ни прежней тревоги, ни прежняго задора нѣтъ и тѣни. А, между тѣмъ, это одинъ и тотъ же человѣкъ, быть-можеть, даже болѣе симпатичный вамъ въ своемъ сосредоточенномъ спокойствіи, чѣмъ въ своемъ юношескомъ задорѣ. Что же стало съ этимъ человѣкомъ? Что способствовало такой рѣзкой перемѣнѣ? Какая-либо особая тревоги и волненія? Ничуть не бывало! Между юношой и человѣкомъ среднихъ лѣтъ легло 10 лѣтъ времени, и странно было бы предполагать, что эти 10 лѣтъ пройдутъ безслѣдно, не измѣнивъ душу, взглядъ, понятія, вѣрованія, не отразившись на лицѣ.

Такъ и со школой: если бы это было казенное заведение, пригнанное по извѣстной рамкѣ, этого можно было бы еще требовать, но можетъ ли не видоизмѣняться живое, свободное дѣло? Можно ли волноваться 10 лѣтъ спустя надъ вопросами: удастся ли открыть школу? какъ отнесется къ ней общество? привлечемъ ли мы къ себѣ ученицъ? сумѣемъ ли поставить дѣло на прочный фундаментъ? и т. п. А, между тѣмъ, всѣ эти вопросы были когда-то главнымъ рычагомъ школы, тревожили, волновали и не давали спать.

Обратимся теперь къ исторіи вообще. Можно ли обвинять историка въ невѣрности сообщаемыхъ фактовъ, если предшествующее десятилѣтіе не было похоже на настоящее; если жизнь внесла въ него столько новаго и такъ безпощадно разрушила старое, что въ этихъ уцѣлѣвшихъ остаткахъ съ трудомъ распознаешь былое? Кто же виноватъ въ этомъ—жизнь или историкъ? Настолько же здѣсь и вины Миропольского. Посмотримъ, что именно онъ сказалъ о настоящемъ. Онъ сказалъ, что школа и кружокъ учительницъ произвели на него хорошее впечатлѣніе, что, бывши въ школѣ, онъ слышалъ вялый урокъ, что спѣвка ему понравилась, но слѣдовало бы учиться пѣть по нотамъ; все же осталъное—это достояніе прошлаго, и вы безпрестанно встрѣчаете: «см. страницу такую-то, протоколъ собранія такого-то года»... Вольно же вамъ не обращать на это вниманія и упрямо повторять: «Я не вижу въ школѣ всего того, о чёмъ пишетъ Миропольский!»

Въ чёмъ же въ самомъ дѣлѣ заключается разница между настоящимъ и прошлымъ школы и не говорить ли эта разница о разложenіи и гибели дѣла? Нѣть, факты таковы: ученицъ масса, наплыvъ учащихъ силъ такъ велика въ этомъ году, какъ не было никогда; старые участники школы продолжаютъ относиться къ ней настолько же добросовѣстно, какъ и прежде. А, между тѣмъ, характеръ дѣла, дѣйствительно, не тотъ, и разница эта заключается въ слѣдующемъ. Прежде, въ тѣ историческія времена, о которыхъ пишетъ Миропольский въ своей исторіи школы, у дѣла образовался кружокъ фанатиковъ (я далеко отошла теперь отъ этого прошлаго и поэтому могу отнести къ

нему критически). Кружокъ сплотился, замкнулся и весь отдался дѣлу. Быть-можеть, не будь этого кружка, не было бы и дѣла; быть-можеть, двинуть дѣло можно только беззавѣтно, и нераздѣльно отдавъ ему всю душу. Я не спорю, но, положа руку на сердце, не могу сказать, чтобы не было и темныхъ сторонъ въ этомъ сплоченіи. Явилась нетерпимость, самомнѣніе, самоуслажденіе, односторонность; весь міръ съ его тревогами и волненіями, съ его воплющими вопросами и задачами,—все это ступшевалось передъ заколдованнымъ кругомъ кружка; были лица изъ наиболѣе горячихъ, которыхъ ровно ничего не читали, что не относилось къ педагогіи: человѣкъ не педагогъ не считался человѣкомъ; на знакомства или занятія, помимо школьніхъ, смотрѣли чуть ли, какъ на преступленіе и считали это отщепенствомъ, измѣной; въ кружкѣ никогда и ни о чемъ не говорили, кромѣ школы. Я знала умныхъ, образованныхъ и порядочныхъ людей, которые боялись встрѣчи съ учительницей: «Насмерть заговорить о школѣ!» говорили они.

Не знаю, могло ли бы подобнаго рода напряженное состояніе длиться годы,—ужъ и тогда слышались протесты наиболѣе трезвыхъ лицъ, но время шло, жизнь разбрасывала людей въ разныя стороны, и мы встрѣчаемъ теперь въ школѣ всего 2—3 лица изъ цѣлаго кружка фанатиковъ. Они съ любовью смотрятъ въ свое прошлое и читать его, какъ святой порывъ, но время отрезвило и ихъ. Явилось сознаніе, что, кромѣ школы, есть интересы въ жизни настолько же почтенные, настолько же святые. И отгородивъ школѣ почетное мѣсто въ своемъ сердцѣ, въ своей дѣятельности, они отзовались и на другіе жизненные вопросы. Между тѣмъ, если не на смѣну, то на подмогу имъ идутъ свѣжая молодыя силы; онѣ несутъ свои симпатіи школѣ, свой трудъ; онѣ группируются, правда, не у фанатического девиза—«школа, и ничего болѣе!», а у самаго живого дѣла, и это дѣло питается, крѣпнетъ и растетъ ихъ симпатіями, ихъ преданностью, ихъ трудомъ.

Обратимся теперь къ учебной части дѣла—къ обученію. Время открытия воскресной школы какъ разъ совпало съ

временемъ общаго оживленія въ педагогическомъ мірѣ. Анализировались старинные методы, предъявлялись новые, рождались на свѣтъ чуть не каждый день всевозможные буквари, прописи, счеты, наглядныя пособія, книги для чтенія и проч. и проч. Многое изъ всего этого было не болѣе, какъ подражаніе все тому же Ушинскому, да еще кое-кому изъ нѣмецкихъ педагоговъ; но, тѣмъ не менѣе, все это встрѣчалось съ восторгомъ, вызывало жажду творить, изобрѣтать, отличаться... Это было хорошее время,— хорошее, какъ все то, что непохоже на болото, на спячку; оно, навѣрно, внесло свѣтъ во многіе педагогические вопросы; оно отразилось и на частной женской воскресной школѣ.

Преподаванію по звуковому методу, предметнымъ урокамъ и новымъ пріемамъ ариѳметики было посвящено все вниманіе учительницъ, и, сказать правду, погоня за этой новизной совершилъ, какъ мнѣ кажется, затемняла вопросъ о результатахъ. Такъ, напримѣръ, мы были крайне удивлены, услышавъ въ Москвѣ на съездѣ отъ Евтушевскаго, что рабски подражать его методу и затратить нѣсколько мѣсяцевъ сряду на изученіе десятка съ помощью кубиковъ со взрослыми ученицами школы—совершенно нелѣпо, что простое знакомство съ нумераціей и торговыми счетами здѣсь болѣе у мѣста. Насъ поразило это потому, что шло какъ бы въ разрѣзъ съ задачами такъ называемаго новаго метода. Мы точно забыли, что въ наши времена не было ни звукового метода, ни дробныхъ счетовъ, а научились же мы и грамотѣ и счету и даже, можетъ-быть, лучше научились, чѣмъ нынѣшніе звуковики. Предметные уроки считались апогеемъ нашего преподаванія; къ одному уроку готовились по году, но если за этотъ годъ учительница ориентировалась въ извѣстной частицѣ естественныхъ наукъ, то врядъ ли неподготовленная ученица за $\frac{3}{4}$ часа выносila изъ этого урока существенную пользу. Какъ сейчасъ помню безтолковое до комизма изложеніе одной изъ косноязычныхъ ученицъ послѣ урока «О пищѣ». Въ безсвязныхъ словахъ «зелудокъ», «кишки», «просащется» почти не было смысла. Конечно, выдавались и болѣе толковыя изложенія, но, тѣмъ не менѣе, значеніе, приданное

Второе
издание.

въ то время предметнымъ урокамъ, было крайне преувеличено. Теперь эти предметные уроки замѣнены объяснительнымъ чтеніемъ. Оно ведется, строго преслѣдуя одну цѣль—результаты.

Ариѳметика ведется нынче нѣкоторыми изъ преподавателей безъ кубиковъ и дробныхъ счетовъ, тѣмъ не менѣе, результаты весьма отрадны: ученицы охотно берутъ работу на домъ и рѣшаютъ довольно сложныя задачи.

Звуковой методъ въ прежней силѣ, и если прежде мы съ гордостью останавливались надъ выдающимися пріемами преподаванія Н. Ф. Крамаревой, то теперь точно такъ же выдается полное оживленія и удачныхъ пріемовъ преподаваніе Н. Т. Рубинской. Правда, за эти 8—10 лѣтъ мы по-приглядѣлись уже къ звуковому методу, онъ не занимаетъ и не удивляетъ настъ такъ, какъ занималъ настъ когда-то, когда одинъ знакомый мнѣ купецъ при встрѣчѣ со мной сказалъ: «Позвольте мнѣ когда-нибудь прійти въ вашу школу посмотретьъ—тамъ, говорять, что-то такое звуковое».

Педагогическія собранія продолжаются, какъ и прежде, и даже бываютъ чаще и многолюднѣе, а главное—воскресная школа продолжаетъ оставаться все тѣмъ же свободнымъ учрежденіемъ, въ которое однихъ влечетъ желаніе научиться, а другихъ—внести свою посильную лепту на алтарь общественной дѣятельности и народнаго образованія. Вотъ два стимула, которыми крѣпка воскресная школа, и будетъ ли волна житейская прибивать къ ея берегу фанатиковъ или просто честныхъ спокойныхъ людей, желающихъ потрудиться, будутъ ли эти люди послѣдователями буквово-слагательного способа Льва Толстого или звукового барона Корфа,—она будетъ жить и вносить въ жизнь извѣстную долю пользы.

6 марта 1878 года.

Замѣтка объ удачныхъ и неудачныхъ урокахъ въ школѣ.

Говорять, будто къ каждому уроку въ школѣ учитель неминуемо долженъ готовиться, что необходимо ему пере-

смотрѣть нѣсколько разъ одну и ту же статью, задуматься надъ каждою фразою, надъ каждымъ словомъ, даже—поймутъ ли ученики это понятное намъ слово, не имѣеть ли оно еще какого-либо посторонняго смысла и т. д. Необходимо также задуматься надъ выводами статьи, надъ моралью, которую возможно изъ нея извлечь, необходимо подумать, какой примѣръ нужно привести въ томъ или другомъ случаѣ.

Все это я знала давнымъ-давно, все это исполняла по мѣрѣ возможности, и вдругъ... со мной случилось нѣчто, случилось осознательно, реально, что идетъ вполнѣ вразрѣзъ съ этой патентованной аксиомой, съ этимъ азбучнымъ педагогическимъ правиломъ.

Двѣ недѣли тому назадъ, наканунѣ воскресенья, я узнала, что братъ мой сильно боленъ. Въ воскресенье я должна была замѣнить его на урокѣ. Разстроенная, послѣ безсонной ночи, съ щемящими отъ слезъ глазами, подошла я утромъ къ газетницѣ съ разсѣянною мыслью, нѣть ли тутъ чего-либо такого, что я могла бы прочесть ученицамъ. Глаза мои упали на развернутую книжку «Отечественныхъ Записокъ». Она лежала открытая на страницѣ съ стихотвореніемъ на смерть Некрасова. Я учу обыкновенно наизусть стихи, которые мнѣ нравятся. Такъ я учила на-дняхъ и эти стихи, почему и книжка осталась открытой. Настроеніе моего духа вполнѣ совпадало съ грустной темой стихотворенія. Я взяла «Отечественные Записки», захватила тутъ же лежавшее «Полное собраніе сочиненій Некрасова» и, связавши все это веревочкой, пошла въ школу.

Въ первой комнатѣ я встрѣтила С.... Но прежде, чѣмъ передать мой разговоръ съ нимъ, мнѣ необходимо разъяснить, почему именно я дорожила его критикой. Сдѣлаю отступленіе: нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ появились у насъ въ школѣ два молодыхъ человѣка-студента—одинъ «блѣлый», одинъ «черный», какъ называли мы ихъ. Кто они, откуда и зачѣмъ пришли въ школу, никто не зналъ; между тѣмъ, они очень свободно намѣтили себѣ группы и стали заниматься. Можетъ-быть, свобода эта была кажущаяся, можетъ-быть, желаніе послужить дѣлу народнаго

образованія было сильнѣе боязни получить афронтъ,—я не знаю. Впослѣдствіи оказалось даже, что имъ открыть доступъ въ школу одинъ изъ нашихъ преподавателей, но не въ этомъ дѣло.

Иныхъ шокировала эта развязность. Развѣ у насъ нѣть общества учительницъ? Развѣ у насъ нѣть собраній? Развѣ мы не хозяева нашего дѣла? Развѣ не слѣдовало благовременно освѣдомиться, желаемъ ли мы этого участія? Развѣ мы не должны беречь школу и отъ пропагандистовъ, и отъ шпіоновъ? И много этихъ «развѣ» слышала я вокругъ себя, но молчала, пока не трогали меня, а это троганье заключалось въ слѣдующемъ: «Вѣдь вы отвѣтственное лицо. Вѣдь вы распорядительница! Вы должны подойти и сказать имъ!» и т. д. Тутъ я разсердилась и заявила рѣшительнымъ тономъ, что я никогда не была въ роли жандарма и никогда не буду. Пусть кто угодно беретъ на себя званіе распорядительницы и изгоняетъ студентовъ, а я дорожу этимъ званіемъ, навязаннымъ мнѣ начальствомъ, какъ прошлогоднимъ снѣгомъ, и буду очень рада отѣлаться отъ него. Меня почти оставили въ покоѣ, но мнѣ было не легче—меня мучила неопределенность положенія этихъ господъ—давно ли я сама была безъ диплома, давно ли висѣль надо мной этотъ дамокловъ мечъ—безправіе, давно ли самое меня каждый могъ выгнать изъ школы? Такія впечатлѣнія не скоро изглаживаются! Мнѣ какъ-то становилось жутко при мысли, что, какъ мнѣ представлять ихъ! Что скажу я имъ, я—распорядительница, и я презирала себя за это званіе. Я думала: неужели общественная дѣятельность возможна только съ компромиссами и съ подличаньемъ? Вѣдь, можетъ-быть, они любятъ школу больше, чѣмъ я, вѣдь, можетъ-быть, ихъ любовь горячѣе, фанатичнѣе и вѣдь ихъ не двое только, не только эти «черный» и «блѣлый», а вѣдь всѣ они, вся эта учащаяся молодежь награждена волчьимъ билетомъ подъ названіемъ: «Инструкція для народныхъ школъ». Гдѣ же почерпать имъ силы—этимъ жалкимъ народнымъ школамъ, если все, что честно, разумно, правдиво, отгорожено отъ нихъ китайскою стѣною!

Я пробѣгала быстро мимо нашихъ отщепенцевъ и также быстро взбѣгала наверхъ. Мнѣ казалось, что туда имъ не достигнуть. Тамъ я отыхала отъ тяжелыхъ впечатлѣній, но «бѣлый» достигъ и туда. Онъ просилъ у меня позволенія бывать въ собраніяхъ, если нельзя посѣщать школу. Это было для меня ужъ слишкомъ, и я дала себѣ слово исхлопотать ему это разрѣшеніе во что бы то ни стало, сама не зная, за кого я хлопочу и что изъ этого выйдетъ.

Ходатайство удалось. Въ первый же вечеръ я предполагала устроить новопришельцу экзаменъ, не съ какими-нибудь административными соображеніями, а просто какъ человѣку, ставшему у дорогого мнѣ дѣла, но экзаменъ не удался: съ первыхъ же словъ онъ оказался знакомымъ и почитателемъ человѣка, настолько дорогого мнѣ въ прошломъ, что, позабывши всѣ свои соображенія, я всецѣло отдалась воспоминаніямъ и вдругъ почувствовала, что этотъ новопришелецъ гораздо ближе мнѣ по своимъ убѣжденіямъ и симпатіямъ, чѣмъ многіе давно знакомые мнѣ люди. Изъ этой первой встрѣчи я вынесла впечатлѣніе чего-то бодраго, свѣжаго, честнаго, энергичнаго, чего-то такого, что не пришиблено давящей системой воспитанія, что смѣло прокладываетъ себѣ путь въ жизни на аренѣ общественной дѣятельности; силу, которая не складываетъ безнадежно руки и не опускаетъ покорно головы. Онъ напомнилъ мнѣ мою молодость, мою давнишнюю счастливую встрѣчу съ человѣкомъ, который далъ мнѣ много горькихъ, много свѣтлыхъ минутъ и въ результатѣ хорошее вліяніе. Я была подкуплена всѣмъ случившимся, но и въ этомъ туманѣ я не могла не различать очень явственно, что этотъ человѣкъ или, лучше сказать, юноша, искренно и дѣльно относится къ школьному дѣлу, что онъ много думалъ надъ нимъ, много читалъ, и что школа для него не игрушка, не забава, не времяпрепровожденіе, а серьезная задача, любимая цѣль.

Я замѣчаю въ себѣ слѣдующую странность: другіе люди при встрѣчѣ съ незнакомымъ имъ человѣкомъ первымъ дѣломъ относятся къ нему критически: да какъ молъ? да что?

да прежде нужно посмотреть? нельзя же върить на слово! и т. д. Очень часто вслѣдь за этимъ у нихъ слѣдуетъ и увлеченіе, и довѣrie, и что хотите. А у меня наоборотъ... Впечатлѣнія захватываютъ меня всю разомъ, съ ногъ до головы, черезъ 10 минутъ я способна върить человѣку безгранично, открыть ему всю душу, точно старому другу, и только потомъ не скоро появляется критика, часто критика въ высшей степени придирчивая, беспощадная и человѣкъ умираетъ для меня такъ же быстро, какъ выросъ. Пробовала исправлять себя въ этомъ отношеніи—ломать, но не сломила.

С... находился еще въ докритическомъ періодѣ, когда я встрѣтила его въ первой комнатѣ.

— Можно послушать вашъ урокъ?—спросилъ онъ, направляясь къ моей комнатѣ.

Я вспомнила, что я не готовилась къ уроку, и мнѣ стало стыдно и передъ нимъ, и передъ ученицами, и какъ будто передъ цѣлымъ свѣтомъ.

— У меня братъ боленъ! Я не готовилась къ уроку! Пожалуйста, приходите въ будущее воскресенье! — говорила я, съ трудомъ удерживая слезы.

Онъ пощадилъ и ушелъ.

Я вошла въ классъ, сѣла, открыла «Отечественные Записки» и вдругъ почувствовала непреодолимое желаніе, прежде, чѣмъ читать это стихотвореніе, разсказать имъ: кто такой былъ Некрасовъ, какое онъ имѣлъ вліяніе, какъ любилъ народъ. Все, что приходилось мнѣ читать и слышать о немъ въ послѣднее время: «Дневникъ» Достоевскаго, жгучая рѣчь студента, описание похоронъ,—все это нахлынуло на меня, все это охватило меня съ такою силой, что сердце билось, руки похолодѣли и голова горѣла, какъ въ огнѣ. Я не могла кончить безъ слезъ разсказа о похоронахъ, и, утирая слезы, я видѣла, какъ утирали ихъ ученицы концами своихъ шейныхъ платковъ.

Второй часъ. Я принялась за чтеніе и разборъ стихотворенія и всѣ самыя трудныя мѣста, какъ, напримѣръ:

„Пѣснѣ твоей, о страданій пѣвецъ,
Будеть не скоро желанный конецъ—

Тамъ онъ, гдѣ горе людское кончается,
Тамъ онъ, гдѣ счастья заря занимается”...
или „Но ты оставилъ намъ пѣсни свободныя,
Ты научилъ насъ борьбѣ”...

Всѣ эти мѣста я разъяснила съ такою легкостью, такъ понятно, что чувствовала себя вполнѣ счастливою.

Третій часъ меня еще болѣе убѣдилъ въ успѣхѣ-то пониманіе, съ которымъ ученицы перечитывали стихотвореніе, та жадность, съ которой онъ спѣшили переписать его, и это общее обаяніе, которое, казалось мнѣ, было разлито вокругъ,—все говорило объ успѣхѣ. «Что же это будетъ, когда я приготовлюсь!» думала я, самодовольно улыбаясь и выходя изъ школы.

И я начала готовиться. Времени у меня было очень много—двѣ недѣли впереди, такъ какъ послѣднее воскресенье передъ постомъ мы никогда не занимаемся. Я выбрала одно изъ любимыхъ своихъ стихотвореній «Уличныя сцены. Воръ». Я никогда не могла безъ слезъ читать этого стихотворенія, гдѣ говорится:

„Закушеный калачъ дрожаль въ его рукѣ,
Онъ былъ безъ сапоговъ, въ дырявомъ сюртукѣ,
Лицо являло слѣдъ недавняго недуга,
Стыда, отчаянья, моленія и испуга”...

Прежде—въ молодости я обладала свойствомъ засыпать, какъ только прислонюсь къ подушкѣ, но теперь я давно утратила эту способность, и какъ бы рано ни легла я спать, до второго, до третьаго часа я не могу заснуть. Все, что составляло «злобу дня», какъ-то особенно отчетливо проходить передъ глазами, и какъ бы ни была ничтожна эта «злоба дня», она вырастаетъ во что-то важное, серьезное, неотступное.

Иногда я чувствую приливъ счастья и отъ наполненнаго любимой работой дня, и отъ удавшагося собранія, и отъ полученнаго искренняго письма, и этотъ приливъ такъ великъ, что мнѣ кажется, что нѣть на свѣтѣ человѣка счастливѣе меня; иногда какая-нибудь ничтожная неудача кажется мнѣ громаднымъ несчастьемъ и приводить въ не-поддѣльное отчаяніе.

«Злобу дня» послѣдняго времени составляла подготовка къ уроку: какъ только я ложилась въ постель, въ воображеніи моемъ рисовалась моя группа ученицъ, и я силилась предугадать, что можетъ ихъ заставить задуматься, что можетъ оказаться непонятнымъ, что можетъ быть понято превратно. Я задумывалась надъ каждой строкой, надъ каждымъ словомъ и въ особенности работала надъ двумя послѣдними строками стихотворенія:

„И Богу поспѣшилъ молебствіе принести
„За то, что у меня наслѣдственное есть!“

Когда я совсѣмъ отошла отъ этихъ строкъ съ другими, мнѣ говорили, что ученицамъ недоступенъ иронической смыслъ этихъ строкъ: но я не вѣрила. «Какой вздоръ!» думалось мнѣ, въ этомъ-то и задача учителя, чтобы довести до сознанія несознанного, до пониманія непонятнаго, и я строила свою бесѣду такъ:

— Всегда ли богатый человѣкъ можетъ быть счастливъ?
— Нѣть, не всегда!

— Можетъ ли быть онъ счастливъ, несмотря на свое богатство, видя, положимъ, что вокругъ него другіе люди умираютъ съ голода, если только онъ добръ и честенъ? Можетъ ли онъ въ эти минуты даже стыдиться своего богатства,—стыдиться того, что онъ не роздалъ его, что онъ сытъ, а они голодны?

— Можетъ!

— Можетъ ли онъ, видя голоднаго вора, думать о себѣ съ насыщкой: «да, я честенъ, но честенъ потому, можетъ-быть, что сытъ, что не для чего мнѣ воровать, а будь я голоденъ, можетъ-быть, и я бы точно такъ же стащилъ калачъ!

— Можетъ!

— Дѣлаетъ ли честь человѣку, если онъ, ровно ничего не дѣлаетъ, не принося никакой пользы, живеть на деньги, оставленныя ему по наслѣдству? Слѣдуетъ ли относиться къ нему съ уваженіемъ?

— Нѣть, не слѣдуетъ!

— А если все это такъ, то какъ вы думаете: въ самомъ ли дѣлѣ баринъ Некрасова благодарила Бога, или же онъ

смѣялся надъ собой сытымъ, сидящимъ въ хорошемъ экипажѣ и ъдущимъ веселиться на отцовскія деньги въ то время, какъ голодный нищій укралъ калачъ?

— Разумѣется, смѣялся!

И тысяча варіантовъ приходила мнѣ по этому поводу въ голову одинъ лучше другого, и я заблаговременно радовалась успѣху, но... заглянемъ на урокъ.

Ученицы усѣлись и стишились. С... помѣстился всторонѣ. Я чувствовала несвойственное мнѣ волненіе отъ посторонняго лица; неробкая по природѣ, я никогда не робѣю передъ слушателями; напротивъ, вся нервная система въ подобныхъ случаяхъ какъ-то напрягается, и урокъ выходить еще оживленнѣе, еще бойчѣе. Какъ-то я говорила въ шутку, что мнѣ необходимо приглашать постороннихъ для того, чтобы лучше преподавать. Откуда же это досадливое волненіе? Развѣ причина его вотъ въ чёмъ—каждый посторонній приходить съ цѣлью послушать урокъ и, пожалуй, похвалить, подкупленный доброй славой нашей школы, а въ С... мнѣ чудилось другое,—мнѣ чудилось предвзятое намѣреніе раскритикововать во что бы то ни стало! «А! Вы тогда не пустили: моль, не готовились... Посмотримъ теперь—послѣ тщательнаго приготовленія!» Въ началѣ нашего знакомства мнѣ казалось, что С... относится ко мнѣ довольно хорошо, довольно тепло, а въ послѣднее время въ его отношеніяхъ стали мелькать для меня тѣни высокомѣрія, скептицизма и всего такого, что навело на меня эту непріятную мысль въ критическую минуту начала урока.

Показавши классу нѣсколько картинокъ изъ новаго альбома, изданного въ память Некрасова, я открыла книгу и стала читать «Воръ». При первыхъ же строкахъ я почувствовала, что стихотвореніе это потеряло для меня всю свою обаятельную силу, весь букетъ. Я не жила больше съ нимъ ни сердцемъ, ни воображеніемъ. Это было нѣчто отжившее для меня и разложившееся на части. И вдругъ мнѣ пришла въ голову сцена, видѣнная мною когда-то давно. Это было на публичной лекціи: толстякъ-профессоръ, для подтвержденія какого-то своего научнаго положенія, взялъ въ руки полную жизненнаго трепета птичку, посадилъ подъ

колпакъ, и она задохлась. Потомъ онъ распотрошилъ ее на части, и мы видѣли все—и ножки, и крылышки, и головку—и знали обо всемъ гораздо болѣе, чѣмъ прежде, но не было одного—не было животрепещущей птички, и мнѣ было такъ жаль ей, что я готова была бы отдать всѣ свои новыя свѣдѣнія за ея жизнь. То же чувствовала я въ отношеніи своего стихотворенія—я могла объяснить каждое слово въ отдѣльности, но души больше не было, это было мертвое, бездыханное тѣло.

Съ каждой минутою энергія падала во мнѣ все болѣе и болѣе, я чувствовала всю несостоительность своихъ наготовленныхъ заблаговременно разъясненій; я объясняла то, что оказывалось и безъ того понятнымъ, и была безсильна растолковать непонятное; наконецъ, подойдя къ послѣднимъ двумъ и безъ того критическимъ строчкамъ, я до того растерялась, что плохо соображала, что говорю. На второй и третьей скамьѣ я замѣтила два-три зѣвка и не знаю, чѣмъ все это кончилось бы, если бы С... не ушелъ безъ оглядки изъ класса и если бы я не заслышала звонка. Тутъ я вспомнила одинъ изъ нашихъ разговоровъ съ нимъ, когда онъ сказалъ, что, если ему стыдно за кого-нибудь, онъ тотчасъ бѣжитъ прочь.

Я возвращалась изъ школы такою несчастною, какъ, кажется, никогда, и въ то же время мнѣ было досадно на себя: «Что же въ сущности случилось? Ровно ничего! Несудачный урокъ! Но съ кѣмъ же этого не бываетъ и что мнѣ за дѣло, что подумаетъ обо мнѣ этотъ гордый, самолюбивый и избалованный успѣхомъ въ обществѣ, или, лучше сказать, успѣхомъ въ дамскомъ обществѣ, мальчикъ, годящійся мнѣ въ сыновья. Я никогда не симпатизировала этому типу—эта избалованность рѣдко не парализуетъ въ юношѣ задатки стать со временемъ человѣкомъ дѣла». Но, мнѣ кажется, причина лежала глубже этой критической оцѣнки С..., которая явилась во мнѣ въ послѣднее время, благодаря тѣмъ мимолетнымъ, ничтожнымъ и, повидимому, незначащимъ проявленіямъ, вслѣдствіе которыхъ, тѣмъ не менѣе, часто складывается въ итогѣ мнѣніе о человѣкѣ. Причина лежала, какъ мнѣ кажется, въ разладѣ съ аксиомой, въ которую я

привыкла вѣрить, что къ каждому уроку слѣдуетъ тщательно приготавляться. «Такъ ли это?» болѣль во мнѣ вопросъ: «и не рациональнѣе ли, не естественнѣе ли создавать разъясненіе тамъ, въ классѣ, на мѣстѣ, создавать разъясненіе тому, что оказалось воплощеніе непонятнымъ, останавливаться только надъ тѣмъ, что не пускаеть двигаться впередъ и прислушиваться къ душѣ ученика не разумомъ, а сердцемъ?! И неужели доля вдохновенія неумѣстна тамъ, въ классѣ, неужели все должно быть разсчитано и размѣрено, какъ на какой-нибудь механической работѣ, гдѣ пригнанъ симметрически каждый гвоздикъ, и вы, не затрудняясь, отвѣтите, зачѣмъ онъ заключенъ.

Горькаго въ моемъ раздумьѣ было еще вотъ что: это сомнѣніе въ своихъ педагогическихъ способностяхъ и прѣмахъ. Что же это за учитель, думалось мнѣ, который можетъ хорошо прочесть урокъ тогда только, когда найдеть на него вдохновеніе свыше—который никогда не можетъ поручиться за то, каковъ будетъ его урокъ? Не лучше ли просто-напросто отказаться отъ преподаванія и уступить мѣсто болѣе способному. Вѣдь это не церковь, гдѣ необходимы проповѣдники, нeliшенные подчасъ силы вдохновенія, не театръ, въ которомъ немыслимъ актеръ безъ вдохновенія; здѣсь нужны дѣловые служители школы, увѣренные въ томъ, что изъ каждого ихъ урока ученикъ вынесетъ пользу. И мнѣ вспомнился Силаковъ съ его образцовымъ урокомъ объяснительнаго чтенія: съ какой увѣренностью, съ какимъ спокойствіемъ стоялъ онъ передъ незнакомымъ ему классомъ, какъ смѣло, просто и ясно повелъ бесѣду, какъ толково разъяснилъ каждое непонятное слово, какъ настойчиво преслѣдовалъ цѣль уясненія несознанного смысла. Эта увѣренность настраивала какъ-то бодро и классъ и слушателей...—и я давала себѣ слово уступить ему наши будущіе уроки по объяснительному чтенію, просить его подгонять прїезды въ Харьковъ къ воскресеньямъ, чтобы бывать въ школѣ.

Мнѣ было больно это рѣшеніе—я такъ много мечтала, такъ много строила плановъ поповоду этихъ будущихъ уро-

ковъ, но... не уступить изъ-за личнаго удовольствія было бы слишкомъ эгоистично.

Въ одномъ изъ позднѣйшихъ дневниковъ мы находимъ слѣдующую замѣтку о Силаковѣ:

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ покойный М. И. Силаковъ посѣтилъ нашу школу. Юный, воспріимчивый, весь пламенѣющій любовью къ народу, онъ съ увлеченіемъ отнесся къ нашему дѣлу, но это не мѣшало ему видѣть въ немъ слабыя стороны и честно произносить слова безпощадной критики. По профессіи онъ былъ преподавателемъ солдатской школы въ Чугуевѣ вмѣстѣ съ другомъ своимъ К. К. Абазой. Другъ его былъ совсѣмъ иныхъ свойствъ: тихій, мягкий, сдержанній, какъ будто черезчуръ даже учтивый и молчаливый, онъ подчасъ какъ бы конфузился за рѣзкія выходки своего пріятеля; но оба они пополняли другъ друга, оба работали сообща, оба составили прекрасное руководство и книгу для класснаго чтенія солдатъ. Друзья часто прїѣзжали изъ Чугуева на наши засѣданія и очень оживляли ихъ. К. К. былъ нѣсколько педантиченъ, любимой его темой было выяснить цѣль и значеніе воскресной школы. Правду сказать, онъ наскучилъ мнѣ даже немножко, и въ одномъ изъ своихъ прежнихъ дневниковъ, описавъ яркую картину того, какъ широко вліяніе воскресной школы, я говорю: «И вспоминается мнѣ одинъ педагогъ - педантъ, который назойливо приставалъ въ одномъ изъ нашихъ собраній къ намъ съ вопросомъ: «Выясните мнѣ цѣль воскресной школы?» Показала бы я ему этого простолюдина и спросила бы: «теперь понимаете?»

Не таковъ былъ М. И. Блестящія рѣчи, горячіе споры, талантливые образцовые уроки, интересные доклады, остроумныя шутки,—все это привлекало къ нему общія симпатіи. Немало содержательныхъ страницъ, принадлежащихъ ему, можно прочесть въ нашихъ прежнихъ протоколахъ; но и шутки его остались также у меня въ памяти. Какъ-то я очень размечталась о томъ, чтобы поселиться въ деревнѣ и устроить тамъ «оазисъ». Деревня должна была быть невелика, и всѣ въ ней должны были быть счастливы, начи-

ная отъ владѣльцевъ, доктора, учителя и кончая послѣднимъ крестьяниномъ. Я настолько увлеклась этой иллюзіей, что совсѣмъ перестала говорить о школѣ. М. И. усматривалъ въ этомъ стихійное увлечение и написалъ слѣдующее четырехстишіе:

„Вертится флюгеръ, время мчится,
За вѣкомъ вновь она спѣшить:
Ей уголокъ деревни снится,
А школа бѣдная молчть!“

Не нравилась ему моя слезливость, «самоуничиженіе, граничащее съ кокетствомъ», какъ выражался онъ, и подозрительность, съ которой я въ каждомъ человѣкѣ усматриваю врага, и онъ составилъ въ шутку остроумную афишу концерта, въ которой было сказано: «Въ антрактѣ т-те Алчевская проплачетъ на тему: «я женщина неученая, у меня много враговъ!»

М. И. былъ молодъ, оживленъ, веселъ. Его любили всѣ, кто зналъ его, начиная отъ командира полка и кончая послѣднимъ замухрышкой-солдатикомъ. Но однажды съ М. И. случился эпизодъ весьма непрѣятнаго свойства. Давался полковой обѣдъ по случаю приѣзда особы. Шампанское лилось рѣкой; лились и рѣчи и тосты, но всѣ они были умѣренны и сдержаны, каждый помнилъ о присутствіи за обѣдомъ особы. Не взялъ только этого въ толкъ всегда прямой и откровенный М. И., и когда дошла до него очередь, онъ говорилъ не въ честь начальства, не въ честь полка, не въ честь товарищей,—онъ произнесъ тостъ за русскаго солдата со всей его выносливостью, со всѣмъ тѣмъ, что поднялъ онъ на своихъ плечахъ въ послѣднюю войну, за солдата-героя и побѣдителя!.. Эта блестящая прочувствованная рѣчь произвела огромное впечатлѣніе. Раздался громъ рукоплесканій; старые служаки утирали украдкой слезы. Но особы взглянула на это дѣло иначе—и послѣ обѣда молодому поручику велѣно было подать въ отставку.

Помню, гуляя какъ-то въ морозное утро, я увидѣла М. И. на перекладныхъ, въ старенькой солдатской шинели, обмотанной какимъ-то грязнымъ шарфомъ. Онъ имѣлъ очень

жалкий видъ и напоминалъ арестанта. Это было на другой день его злосчастной отставки.

Но случай выручилъ неосторожнаго поручика: умеръ его какой-то неизвѣстный дядя и оставилъ ему большое состояніе. Всѣ друзья М. И. искренно радовались этому сказочному эпизоду, такъ какъ были увѣрены, что наслѣдство попало въ добрыя руки. И дѣйствительно, сколько широкихъ гуманныхъ плановъ возникло въ горячей головѣ молодого фанатика!.. Но судьба оказалась безжалостной къ нему: сблизаясь съ народомъ въ своемъ новомъ имѣніи и посѣща болыныхъ, безстрашный юноша заразился оспой и умеръ одиноко, безъ друзей и близкихъ, безъ медицинской, быть-можетъ, даже помощи...

11 марта 1878 года.

Звонокъ. «Бурыкина къ вамъ пришла»,—сказала, входя, няня. Я поспѣшила къ ней навстрѣчу, въ переднюю. Стаяясь высвободиться изъ своей старенькой узенькой шубки, которую она носила еще ребенкомъ, она спѣшила раздѣться, а крупныя слезы неудержимо катились по ея блѣднымъ щекамъ.

— Бурыкина! Что съ вами? Маменька здорова ли?—спрашивала я, зная, что она живеть вдвоемъ съ старушкой-матерью, слабою здоровьемъ.

Она громко зарыдала и порывисто, вся дрожа, какъ въ лихорадкѣ, задыхаясь послѣ каждого слова, проговорила:

— Сейчасть... закрыли... мою... школу...

— Какъ? За что? Какимъ образомъ?

Я знала давно, что, не имѣя другихъ средствъ къ существованію, Бурыкина занимается обученіемъ дѣтей; какъ-то даже одно время она перестала было посѣщать нашу школу, говоря, что страшно утомляется своими каждодневными занятіями, а затѣмъ опять возобновила, прося позволенія приходить только на одни уроки исторіи, которые ее очень интересуютъ. Помню также, что однажды она просила меня объяснить ей, какъ ведется письмо подъ тактъ, и дать на образецъ тетрадку, но разговориться болѣе

подробно объ ея школѣ мнѣ какъ-то не пришлось. Иногда на урокѣ чистописанія я поручала ей занятія съ отставшими ученицами и часто, желая представить классу образецъ, какъ слѣдуетъ читать то или другое стихотвореніе, заставляла ее читать вслухъ, стоя передъ скамьями.

Я повела ее въ свою голубую комнату, усадила возлѣ себя, притворила обѣ двери и просила успокоиться и рассказать мнѣ все подробно. Но успокоиться она не могла, какъ ни силилась—рыданья, всхлипыванья и слезы безпрестанно прерывали ея рѣчь.

Такая нервность понятна для меня, благодаря слѣдующимъ мотивамъ:

Я помню Бурыкину ребенкомъ: это была прелестная, бѣлокурая дѣвочка 11—12 лѣтъ; первая ученица Александровской школы, изъ любознательности посѣщавшая воскресную школу. Какъ-то она вдругъ исчезла отъ насъ,— и воскресенье, и два, и три—Бурыкиной нѣть какъ нѣть. Не замѣтить ея отсутствія было невозможно—мы стали разспрашивать другихъ ученицъ, не знаютъ ли онѣ чего-либо о Бурыкиной, и намъ сказали, что у нея оспа. Черезъ 2—3 недѣли она появилась, исхудавшая, съ синекрасными неподжившими еще слѣдами оспы, грустная, сконфуженная тѣмъ, что иныя сторонились отъ нея, боясь заразы, такъ какъ есть повѣрье, что оспа особенно заразительна въ то время, какъ проходитъ, поджигаетъ. Невозможно было безъ боли сердечной смотрѣть на этого ребенка. Не вѣря вообще въ заразу и прилипчивость, я, помню, подошла къ ней тогда и искренно, горячо поцѣловала ее и сказала нѣсколько утѣшительныхъ словъ.

Она заплакала мнѣ въ отвѣтъ и сказала: «Это все было ничего, но я отсталы—и теперь не быть мнѣ уже хорошей—первой ученицей въ Александровской школѣ!»

Это несчастье, въ связи съ потрясеннымъ физически дѣтскимъ организмомъ, безъ рационального ухода, безъ заботы о сбереженіи ребенка до полнаго выздоровленія, и затѣмъ, быть можетъ, цѣлый рядъ маленькихъ неудачъ, лишеній, нужды и усиленной работы, легко могли дать въ результатѣ эту нервную дѣвушку, рыдавшую передо мною.

Мы жалѣли ее тогда,—мы посторонніе люди, а какая происходила драма въ душѣ этого умнаго, развитого и впечатлительного ребенка; обѣ этомъ, быть-можетъ, никто не зналъ, никто не угадывалъ, никто не проникалъ даже воображеніемъ, а наши неумѣстныя, быть-можетъ, слова участія и сожалѣнія дѣлали ее въ собственныхъ глазахъ еще несчастнѣе и давали обильную пищу и безъ того разстроенному воображенію. Отъ прежней красивой дѣвочки остались только большие, сѣрые, умные глаза и пріятная улыбка.

— Сосѣдъ доказалъ, квартирантъ въ томъ дворѣ, гдѣ и мы...—говорила она отрывисто.—Онъ не взлюбилъ меня... давно... за что и говорить не хочется... (и блѣдныя щеки ея вспыхнули румянцемъ стыда и негодованія). Давно пугалъ—донесу, что вы занимаетесь безъ диплома—этого не полагается... но я не вѣрила, чтобы онъ сдѣлалъ этакую подлость... Сейчасъ приходитъ чиновникъ... изъ ремесленной управы, кажется... спрашивается: «Какъ вы смѣете содержать школу безъ диплома?...» Я говорю: «Помилуйте, какая же это школа, я учу грамотѣ семерыхъ дѣтей... Вы спросите, какъ родители мною довольны»...

Бурыкина не могла продолжать отъ рыданій, и среди этихъ неудержимыхъ рыданій точно стонъ вырвалось одно слово «закрыль!»—«Говорила ему...—продолжала она черезъ нѣсколько минутъ,—что я кончила курсъ въ Александровской школѣ первой ученицей. Сама начальница сказала мнѣ, подавая дипломъ: «Ты можешь теперь сама учить другихъ!..»

— Гдѣ же этотъ дипломъ?—перебила я.

— Затерялся, какъ переходила на квартиру. Все въ немъ 5, 5 и 5! Я и не знала, что онъ мнѣ понадобится когда-нибудь, а то, можетъ, лучше бы спрятала!»

— Такъ ступайте сейчасъ къ начальницѣ—она вамъ выдастъ другой!

— Ахъ, нѣть! Она, говорять, терпѣть не можетъ, кто учить дѣтей, подрывъ дѣлаетъ ея школѣ, что ли!

— Нѣть, все-таки, попытайтесь, а я сдѣлаю все, все, что могу,—сказала я горячо и вдругъ тутъ же «нечестивое сомнѣніе» охватило меня всю: «А что, если это «все» окончится «ничѣмъ?»

Вѣроятно, Бурыкину испугало мое выраженіе лица.

— Христина Даниловна,—сказала она съ возобновившимися слезами,—вы не подумайте, что я пришла у васъ что-нибудь выпрашивать, мнѣ ничего не нужно! Только какъ случилось это несчастье, я натащила на себя шубенку и бѣжать—куда бѣжать? Къ вамъ! А зачѣмъ—и сама не знаю!

— А согласились бы вы держать экзаменъ?—спрашивала я въ чаду глубокихъ соображеній.

— Отчего же, съ удовольствиемъ, я все помню, что учила. Только вотъ какъ же дѣти?! Впрочемъ, и они и ихъ родители такъ любятъ меня, что подождутъ хоть и мѣсяцъ!

— Если бы вамъ нужно было подготовиться,—продолжала я,—у насъ въ школѣ, навѣрно, найдется кто-нибудь изъ преподавателей и преподавательницъ, которые возьмутся заняться съ вами эти двѣ-три недѣли!

Бурыкина немного повеселѣла. Вдругъ лицо ея опять омрачилось, а на глазахъ сверкнули слезы.

— О чѣмъ вы опять, Бурыкина?!—спросила я..

— Говорятъ, не знаю—правда ли, что этотъ казенный дипломъ стоитъ пятнадцать рублей. Мнѣ ихъ неоткуда взять. Правда, родители мнѣ платятъ аккуратно рубль въ мѣсяцъ, но они всѣ бѣдные, заплатить впередъ не могутъ.

— Заплатимъ! Не бѣда!—сказала я весело.

— Такъ вотъ что, Христина Даниловна,—говорила она, сосредоточенно вдумываясь во что-то,—я могла бы вамъ потомъ уплачивать за него понемногу, каждый мѣсяцъ по рублю.

— Хорошо, хорошо!—сказала я, не желая противорѣчить.—А теперь ступайте сначала къ начальницѣ, а потомъ къ родителямъ, чтобы успокоить ихъ, или вотъ что, выпейте сначала чашечку кофе, я сейчасъ налью.

— О, нѣтъ, какъ можно!—вразилась она дѣловымъ тономъ.—Надо спѣшить!..—И она встала.

— А отецъ вашъ теперь гдѣ?—спросила я.—Онъ вамъ не помогаетъ? (Мнѣ говорили прежде, что отецъ ея пьяница).

— Нѣтъ! Онъ сторожемъ на желѣзной дорогѣ, получаетъ всего нѣсколько рублей, сколько именно, не знаю навѣрное, да и тѣ!..—Она опять вспыхнула краской стыда. Ей, видимо, было кончить эту фразу, порицающую поведеніе отца, и она перемѣнила разговоръ.

— Знаете, какъ я начала свою школу? Сначала у меня была одна только ученица, потомъ родители ея были такъ довольны, что пріискали другую, потомъ третью, и такъ до семи.

Я вспомнила при этомъ извѣстное мнѣ правило, что обученіе дѣтей числомъ менѣе десяти не считается школою, а просто обученіемъ грамотѣ, дозволеннымъ каждому.

За что же ей закрыли? Все это надо узнать, обдумать, опредѣлить, а главное, во что бы то ни стало довести до намѣченной цѣли.

PS. Замѣтка 1 ноября 1878 года.

Бурыкина готовится къ экзамену на званіе народной учительницы у А. Д. Ивановой и вскорѣ будетъ сдавать экзаменъ. Пока мы выхлопотали разрешеніе заниматься съ дѣтьми надому и допустили въ качествѣ помощницы въ занятіяхъ въ воскресной школѣ. Сколько мы ни справлялись, однако, никто изъ инспекторовъ не посыпалъ никакого чиновника закрывать ея школу. Вѣрнѣе всего, что это былъ подлогъ сосѣда.

12 марта 1878 года.

Когда мнѣ приходится бывать въ оперѣ, я обыкновенно скучаю: эти натянутые, рутинные жесты актеровъ, эта до шокированія неправдоподобная походка, эти, почти безъ исключенія, глупые и невѣроятные сюжеты самихъ оперъ,— все это вмѣстѣ взятое до того парализуетъ самую гармонію звуковъ, что въ итогѣ, для меня лично, получается скуча и даромъ затраченное время. Сценическое представление, недоводящее до иллюзіи, до возможности забыться, не имѣетъ для меня никакой цѣли. Не люблю я также за зубренного пѣнія барышенъ, такъ и чудится въ немъ извѣстная «метода», тутъ моль crescendo, тутъ diminuendo, тутъ удареніе — выраженіе чувства и т. д. Въ немъ также слы-

шится нѣчто неестественное, заученное, не говорящее душѣ. Люблю я только одну нашу народную пѣсню, люблю эти свѣжіе, полные силы голоса, выливающіеся изъ здоровой груди, несдавленной корсетомъ, люблю эти слова, сложившіяся подъ диктовку непосредственного чувства — они говорять душѣ гораздо больше всѣхъ этихъ хитросплетенныхъ руладъ и напыщено эффектныхъ словъ.

Возвратясь изъ школы съ группою поющихъ ученицъ, я застала уже К. на мѣстѣ въ ожиданіи урока пѣнія. Онъ разставилъ въ извѣстномъ порядке первые и вторые голоса и началъ съ пѣнія гаммы. Чувствуя по обыкновенію утомленіе послѣ занятій въ школѣ, я бросилась на диванъ въ третьей комнатѣ, давая себѣ отдыхъ нѣсколько минутъ. Изъ залы неслись голоса и, Боже мой, что это были за голоса: чистые, звучные, энергичные, стройные. Я не выдергала и пошла въ залу поощрить К... за ту гармонію, которую все-таки онъ внесъ въ это хоровое пѣніе.

— Знаете что, Христина Даниловна,—сказалъ онъ съ своей обычной простотою,—даю я уроки въ третьей гимназіи, въ женской, въ хорѣ Литинскаго, уроки эти оплачиваются, дѣти, повидимому, развитыя, цивилизованныя и, несмотря на это, увѣряю васъ, ни на одинъ урокъ я не иду съ такимъ наслажденіемъ, какъ сюда. Тамъ замѣчаешь то полное равнодушіе, то лѣнъ, то принужденіе, то желаніе отдѣлаться какъ-нибудь, то даже какую-то вражду, какъ будто и непріязнь, потому только, что ты учитель, а чапце всего апатію, полную апатію,—а здѣсь сколько энергіи, воодушевленія, желанія узнать, разучить, запомнить, кажется, ни одно твое слово не пропадаетъ даромъ; благодаря этому и успѣхи поразительные — будущій разъ начнемъ разучивать пѣсню!

— Положимъ, быть-можеть, К... хороший учитель,—помудила я,—но нельзѧ не признать и школьной капли меду въ этой любознательности, вниманіи и привычкѣ честнаго отношенія къ труду.

13 марта 1878 года.

На-дняхъ въ разговорѣ со мною С... сказалъ, между прочимъ, всколызъ: «Знаете ли, многолюдность собраній

объясняется еще, какъ мнѣ кажется, и тѣмъ, что на эти собранія многіе, быть-можеть, смотрятъ, какъ на удовольствіе: свѣтло, тепло, привѣтливо, гостепріимно, встрѣтишь порядочное общество, почему же и не пойти?!

Замѣчаніе это, какъ уже упомянула я, было сказано вскользь и, повидимому, безъ всякаго желанія уколоть. Между тѣмъ, мнѣ стало больно. Я почти ничего не отвѣтила, но когда С... ушелъ, я продолжала чувствовать все ту же боль и искала причинъ. «Причиняетъ ли намъ боль вѣрное замѣчаніе,—спрашивала я себя,—или то, которое намъ кажется несправедливымъ?» и отвѣчала себѣ сравненіемъ. Случалось ли вамъ видѣть мнительнаго человѣка. Онъ весель и здоровъ, но, набѣду, навстрѣчу ему попадается приятель и, знаетъ ли онъ слабость друга и хочетъ подшутить, или такъ, просто сказать нечего, только онъ замѣчаетъ ему: «Что это ты, братецъ, такъ блѣденъ нынче? Что съ тобою?». — Пріятель пошелъ дальше, разрушилъ спокойствіе и счастье друга. Тотъ начинаетъ перебирать въ своемъ воображеніи причины, обстоятельства текущихъ дней и, несмотря на явственное сознаніе здоровья, все-таки тревожится вопросомъ: «а что, если онъ правъ?»

Такъ и я — я глубоко увѣрена, что наши педагогическія собранія многолюдны, потому что затрагиваются насущные, жизненные вопросы, что группируются у живого и доброго дѣла, что захватываютъ частицу нравственного міра у многихъ горячихъ, честныхъ и стремящихся къ общественной дѣятельности людей. Къ чему же эти сомнѣнія?

Былъ у меня одинъ знакомый (онъ умеръ недавно), который мнѣ говорилъ: «Я увѣренъ, что вы никогда не любили и не полюбите, какъ слѣдуетъ, благодаря вашему дневнику (я не называю любовью эти мимолетныя вспышки). Не полюбите потому, что у васъ вошло въ привычку рыться въ душѣ при малѣйшемъ зародышѣ чувства, и этотъ анализъ губить его на корнѣ».

Что касается «чувствъ», о которыхъ говорилъ мнѣ мой знакомый, то это неправда, я страдала въ этомъ случаѣ чаще отсутствиемъ анализа, чѣмъ избытокъ, боязнью ана-

лизировать, чтобы не испортить себѣ жизни, чтобы не отнять себя по этому мотиву у дѣла, которое должно быть важнѣе игры въ симпатіи, а что эти симпатіи и увлеченія легко скользили по мнѣ, быстро мелькали, то это просто свойство темперамента и легковѣсность всего человѣка. Что же касается дѣла, то тутъ, дѣйствительно, я всегда была мнительна и всегда довольно было намека, чтобы натолкнуть меня на рядъ часто мучительныхъ вопросовъ и раззѣдающаго анализа.

Въ данномъ случаѣ новою «злобою дня» явился вопросъ о многолюдности собраній, и я не могла опять заснуть до трехъ часовъ, анализируя этотъ вопросъ. Предо мною проходили лица, наполняющія эти собранія, и я силилась опредѣлить ихъ характеристику.

Налѣво—секретарь П., неподкупный, желчный, скептикъ, глубоко преданный дѣлу народнаго образованія и ужъ, конечно, не освѣщеніе, чай и десертъ привлекли его сюда. Онъ и самъ когда-то возставалъ противъ этого чая и десерта и возставалъ настолько энергично и публично, что мы перенесли наши собранія въ управу. Тамъ они были настолько же многолюдны и устраивались, кажется, нѣсколько мѣсяцевъ сряду, а затѣмъ намъ стало смѣшно налагать на себя, Богъ вѣсть изъ-за чего, эту эпитетію, и мы опять возвратились къ старымъ порядкамъ.

Направо Ф...—человѣкъ богатый, живущій съ полнымъ комфортомъ. Онъ недавно возвратился изъ-за границы, гдѣ осмотрѣлъ массу педагогическихъ учрежденій.

Рядомъ съ нимъ—молчаливый и болѣзненный другъ, завѣдомо умный и серьезный человѣкъ, положившій здоровье въ земскихъ дѣлахъ.

Рядомъ съ нимъ—старушка, отлично воспитавшая своихъ собственныхъ дѣтей, занимающаяся теперь воспитаніемъ внука и постоянно интересующаяся педагогическими вопросами.

За нею—учительница нашей семейной школы. Съ утра до вечера она бѣгаешь по урокамъ. Простудила горло. Докторъ запретилъ выходить. «Но невозможно же пропустить

собраніе, надо пробыть хоть одинъ часъ на чтеніи записки Силакова».

Рядомъ—незнакомая мнѣ учительница Общества Грамотности, сконфуженная, молчаливая, отодвинувшаяся назадъ. Я не знаю ее, но ручаюсь, что она пришла за дѣломъ. Думаю даже, что въ ней происходит борьба: «итти ли въ домъ къ этой богачкѣ Алчевской (эксплуатирующей трудъ бѣдныхъ людей), которую я терпѣть не могу, или нѣтъ?» Но дѣло выше всего, и она пришла.

За нею—двѣ наши учительницы—обѣ живутъ шитьемъ (составляютъ ассоціацію еще съ одною работающей дѣвушкой). Имъ бы «и нельзя быть сегодня—работы пропасть, не до удовольствій, работы—срочной, но вы, Христина Даниловна, сказали, что сегодня особенно интересное собраніе—бросили и пришли!»

За ними 3—4 студента. У нихъ экзаменъ на носу—вотъ какъ некогда! Можно изъ-за этихъ собраній потерять годъ, но «надо притти хоть на одинъ часъ, если бы только такъ устроить, чтобы образцовъй урокъ по ариѳметикѣ, который такъ интересуетъ насъ, такъ какъ мы сами читаемъ этотъ предметъ, былъ данъ между 8 и 9 часами».

Рядомъ учительница нашей школы Я..., у нея каждодневная школа, и она «такъ утомляется, такъ занята подготовкой къ завтрашнему уроку, но собранія настолько полезны, что я нахожу необходимымъ бывать на нихъ!» Ей можно повѣрить—она такая пожилая, серьезная, трудающаяся, что ей не до веселья, не до встрѣчъ!

Дальше съ нею ея знакомая, молоденькая, хорошенъкая барышня. Отецъ ея почему-то боится нашей школы, а въ особенности собраній, и она, вѣроятно, бываетъ потихоньку на нихъ. Я замѣтила это какъ-то по ея условному разговору съ Я..., да еще по тому, что она ниразу не приходила въ собраніе безъ Я... Она ни съ кѣмъ не знакомится, постоянно конфузится и краснѣетъ и съ выдающимся вниманіемъ слушаетъ все, что говорится въ собраніяхъ. Къ этому типу принадлежитъ еще нѣсколько учительницъ.

Ж... кормить ребенка, но находитъ, что вопросы собраний такъ интересны ввиду даже собственныхъ дѣтей, что бываетъ на нихъ всегда, когда дитя здорово.

М. еще въ заведеніи учится и затрачиваетъ все воскресенье на приготовленіе уроковъ, лишь бы въ понедѣльникъ быть на собраніи, «особенно если предвидится урокъ по звуковому методу, которому ей очень хочется научиться!»

Ж. только что поднялся съ постели, онъ не можетъ переносить табачного дыма и громкаго говора и пришелъ только хоть на одинъ часъ, чтобы самому прочитать свою рецензію.

Л. послѣдній только къ 10 часамъ послѣ всѣхъ своихъ уроковъ и, не заставъ ужъ чаю, засталъ конецъ собранія и записался на будущую работу.

В. явился для того, чтобы прочитать урокъ. Трудно было ему готовиться къ этому уроку, своего дѣла по горло, да что дѣлать, надо подѣлиться съ другими своимъ опытомъ.

П. тоже заваленъ дѣломъ въ гимназіи, и здоровье плохо въ послѣднее время, но такъ усердно просили въ комиссію, къ тому же идутъ вопросы по интересующимъ его специальнымъ предметамъ—не хотѣлось отказаться!

С. пріѣхалъ на 2, на 3 дня въ Харьковъ. Въ театръ—новая пьеса, отличные, говорятъ, актеры, хотѣлось бы пойти, и деньги, кстати теперь есть, да слѣдуетъ быть въ собраніи съ своимъ протоколомъ.

Всѣ эти образы успокаиваютъ меня, и я думаю, засыпая: «Нѣть, анализъ не всегда дѣйствуетъ разлагающимъ образомъ!»

Воскресенье, 23 апреля 1878 г.

Чувствую себя утомленною, точно послѣ продолжительной болѣзни. Что же случилось? Готовилась къ уроку! А мой взглядъ на то, что готовиться не слѣдуетъ. Но вѣдь это не взглядъ собственно, а впечатлѣнія, нельзя же имъ, въ самомъ дѣлѣ, безгранично вѣрить, не вдумываясь, не вслушиваясь, не анализируя.

Въ чёмъ же состояла эта утомившая меня работа?

Вотъ въ чёмъ: два дня сряду моя голубая комната представляла такое зрелище: Пушкинъ, Лермонтовъ, Кольцовъ, Никитинъ, Тургеневъ, Толстой, Беранже, Курочкинъ, Огаревъ, Мей, Полежаевъ, Плещеевъ, Алмазовъ, Некрасовъ,— все это разбросанное по столамъ вперемежку съ карандашами, бумагой, перьями, въ непривычномъ для меня беспорядкѣ.

Мы работали съ М. И. Силаковымъ надъ программой по литературному отдѣлу. Сколько было перечитано, передумано, пересмотрѣно и перечувствовано за эти двое сутокъ— представить трудно. Даже слезы нашли себѣ мѣсто при чтеніи нѣкоторыхъ любимыхъ стихотвореній, благодаря свойственной мнѣ слезливости. Наконецъ, программа была готова, программа продуманная, прочувствованная. При перечиткѣ ея сердце радовалось, настолько все казалось понятнымъ, у мѣста.

Я чувствовала боль въ глазахъ, приливы къ головѣ— слѣдовало бы остановиться и дать себѣ отдыхъ, но мы задумали разработать къ воскресенью хоть одинъ урокъ изъ нашей программы («На пепелищѣ» Никитина), и решено было, что я его прочту. Начались приготовленія. Останавливались надъ каждымъ словомъ, надъ каждымъ выражениемъ, опредѣленъ былъ весь планъ урока, прочитана обширная біографія Никитина и изложена вкратцѣ, приготовлены модели и т. д. и т. д.

Пришло воскресенье. Измученная предшествовавшей усиленной работой, пришла я въ школу, держась за свою тетрадку, какъ утопающій за соломинку. Страшнѣе всего, безспорно, было то, что въ классѣ будешь судья, судья праведный, но придирчивый и безпощадный, это не мой прежній слушатель С....: тамъ были утѣшенія на тему «да много ли онъ жиль и видѣлъ?!», а тутъ ничего, ничего, кроме сознанія, что ужъ если засудятъ тебя, то по всѣмъ правиламъ искусства. Я начала урокъ съ рассказа біографіи поэта. Разсказывая довольно развязно, чуть ни наизусть заученную мною біографію, я чувствовала нѣкоторое самообладаніе, почти спокойствіе, я говорила просто, не останавливаясь, не заикаясь, не сбиваясь на словахъ, но меня давило сознаніе, что меня слушаютъ, чей-то карандашъ точно скребъ меня по душѣ.

Завѣтная тетрадка лежала передо мною раскрыта, я чувствовала почву подъ ногами и въ томъ же приличномъ тонѣ продолжала урокъ, строго придерживаясь начертанной системы. Минутами мнѣ казалось, что я не говорю, а слушаю кого-то посторонняго, минутами, но ихъ было очень мало, я забывала свою роль, вскакивала со стула и сбивалась всторону, но это были самыя непродолжительныя вспышки—я тотчасъ слышала карандашъ и чувствовала всѣми силами души присутствіе судьи.

Испытаніе кончилось; по изложеніямъ ученицъ видно было, что урокъ понять. На послѣдней скамье сидѣла вновь пришедшая ученица—высокая блондинка, некрасивая, въ веснушкахъ, лѣтъ подъ 30 или за 30.

Она пришла въ срединѣ класса, такъ что я, сдержанявъ досаду на помѣху, сказала ей только холодно: «Садитесь!» Мнѣ хотѣлось загладить эту холодность, которая, быть-можеть, отозвалась въ ея душѣ, я подоплѣла, сѣла рядомъ и спросила ее:

— Вы знаете грамоту, или только пришли поучиться?

— Нѣть, я грамотна! Но вѣдь этого мало,—отвѣчала спокойно ученица: необходимо подвигаться впередъ въ своемъ умственномъ развитіи, мало читать, необходимо читать толково. Мнѣ чрезвычайно понравился вапшъ сегодняшній урокъ, мнѣ кажется, что я въ первый разъ поняла сегодня, что значить относиться къ статьѣ вполнѣ сознательно, и я непремѣнно буду посѣщать школу. Я пришла сегодня, такъ сказать, попробовать — понравится школа, увижу, что можно вынести изъ нея что-либо полезное—буду ходить, а нѣть—спросъ не бѣда, попытка не убытокъ!

— А ваша профессія?—спросила я, заинтересованная какъ нельзѧ болѣе своей новой встрѣчей.

— Швея,—отвѣчала она просто.

— Знаете ли,—сказала я,—если вы довольны моимъ урокомъ, то позвольте вамъ сказать, въ свою очередь, что я чрезвычайно счастлива вашимъ отзывомъ—онъ отвѣчаетъ мнѣ на вопросъ: «достигъ ли желанной цѣли мой урокъ». Вашъ судъ для меня важнѣе всего... Нужно вамъ сказать, что мы не дорожимъ малолѣтними ученицами—передъ ними

цѣлая жизнь—успѣютъ еще научиться. Но когда къ намъ приходитъ взрослая ученица, по собственной волѣ, по собственному сознанію,—это составляетъ нашу гордость, и Богъ знаетъ, что далъ бы, лишь бы оправдать это довѣріе, лишь бы ея дорогое время не пропало даромъ.

Мы обмѣнялись еще нѣсколькими словами, и я вышла изъ класса подъ пріятнымъ впечатлѣніемъ, во-первыхъ, новой встрѣчи, во-вторыхъ, удачнаго изложенія учениць, но... но меня ждалъ судья. «Урокъ неудовлетворителенъ,—сказалъ онъ рѣшительно,— мало оживленія, пропущено нѣсколько вопросовъ, но, тѣмъ не менѣе, я уѣзжаю подъ пріятнымъ впечатлѣніемъ и съ твердой увѣренностью, что съ этихъ поръ объяснительное чтеніе поставлено въ школѣ на твердую почву, и что если вы будете продолжать настолько же добросовѣтно и сознательно относиться къ приготовленію уроковъ, вы овладеете искусствомъ поставить классъ какъ слѣдуетъ!»

Не помню навѣрное, въ этихъ ли именно словахъ была выражена мысль, но слово «неудовлетворительно» какъ-то особенно врѣзалось въ память и повергло меня въ уныніе. Я вышла изъ школы совсѣмъ разбитая, ничего не зная ни о своемъ урокѣ, ни о своей правоспособности преподавать. Я шла, понуря голову, которая казалась мнѣ какъ-то особенно тяжела и чувствовала боль въ глазахъ отъ яркаго солнца. Мнѣ было невмочь итти. А, между тѣмъ, прохладный воздухъ какъ будто освѣжалъ. «Возьму извозчика и покатаюсь», рѣшила я. Пока я дошла до извозчика, мнѣ встрѣтилось 2—3 знакомыхъ. «Что съ вами—вы больны?» спросили они.—Да, я была больна, была утомлена нравственno. Мнѣ думалось: «Къ чemu устраивать себѣ такія пытки? Сколько тамъ—въ этой школѣ молодыхъ нетронутыхъ силъ—пусть бы онѣ занимались этими скачками съ препятствіями, а мнѣ: «я бѣ желалъ забыться и заснуть!» И гдѣ, въ чёмъ стимулъ, двигающій на всѣ эти непріятности? Онъ долженъ быть непремѣнно силенъ и честенъ, думалось мнѣ, но какъ ему имя, я не знаю, только не самолюбіе, напротивъ, это просто точно будто игра въ тысячу и одинъ щелчокъ самолюбію, самомнѣнію, самоувѣренности.

Скорѣе имя этому стимулу—любовь, преданность къ дѣлу—право, это больше подходитъ»...

Въ этомъ грустномъ раздумье я сѣла на извозчика, и онъ повезъ меня прямо, прямо. Онъ не спрашивалъ меня, кудаѣхать, а я ничего не говорила. Лошади попались быстрыя и мчали, точно несли. На одномъ изъ поворотовъ я увидѣла мужика, онъ снялъ шапку, не то прося милостию, не то крестясь на церковь; лучи солнца падали на его курчавую голову. Онъ держалъ за руку ребенка лѣтъ 2-хъ—3-хъ. Мы промчались быстро, безъ-оглядки, но воображеніе мое моментально откликнулось на эту картину: «Вотъ онъ, этотъ мужикъ,—говорило оно мнѣ,—тотъ самый мужикъ, что сидѣлъ на пепелищѣ—вѣдь это онъ, вѣдь вы узнали его по ребенку!» И картина пожара и пепелища представилась мнѣ съ такою поразительной ясностью, точно я видѣла ее воочію, въ жизни. Затѣмъ въ головѣ группировались съ необычайной послѣдовательностью всѣ вопросы, затронутые стихотвореніемъ, и вся могучая сила таланта поэта; мнѣ казалось, что до сихъ поръ я никогда не вдумывалась какъ слѣдуешь и что читать поэтическіе шедевры такъ, какъ я ихъ читала, съ однимъ чутьемъ—это профанациѣ. Я точно прозрѣла легкость, съ которой я скользила умомъ по глубокимъ мыслямъ, мнѣ стало стыдно за эту легкость, за свои дешевые слезы подъ диктовку впечатлѣнія; мнѣ казалось, что только въ эту минуту я научилась страдать сознательно надъ бѣдствіями народа, и на придачу ко всему мнѣ вспомнились слова умноголовой ученицы: «Мнѣ кажется, что я въ первый разъ поняла сегодня, что значитъ читать вполнѣ сознательно».

Затѣмъ я стала вспоминать своего судью, давшаго мнѣ эти минуты. Зачѣмъ онъ сказалъ мнѣ это болѣное слово и какимъ тономъ сказалъ? Я вспомнила и тонъ, и голосъ, и лицо до мельчайшихъ подробностей. Тонъ этотъ не былъ ни торжествующій, ни обидный, въ немъ, напротивъ, звучали ноты волненія за удачу и радость надежды. Видимо, вопросъ, удастся ли урокъ, волновалъ его если не болѣе, то не менѣе, чѣмъ меня, такъ какъ это было настолько же его твореніе, какъ и мое.

Дай Богъ школъ больше такихъ судей!!!

Такая критика не унижаетъ, а возвышаетъ, такъ какъ цѣль ея не разрушать, а созидать, и, чувствуя щелчки мелочному самолюбію, ты въ то же время сознаешь, что есть въ мірѣ нѣчто гораздо лучше, выше, благороднѣе этого личнаго самолюбія, и что, подчиняясь этому «нѣчто», ты не только не унижаешь себя, свое человѣческое достоинство, а напротивъ того—дѣлаешь шагъ впередъ къ истинѣ.

8 октября 1878 г. Воскресенье вечеромъ.

Подъ грустнымъ впечатлѣніемъ возвратилась я сегодня изъ школы... Что же случилось? Первою новостью, встрѣтившою меня въ школѣ по пріѣздѣ изъ Крыма, было извѣстіе о томъ, что одна изъ моихъ ученицъ—молодая, здоровая, красивая дѣвушка Ларіонова пошла въ монастырь, а двѣ еще собираются только пойти—Кравцова и Даша Феничкина.

Ларіонова вовсе не была несчастлива въ семье, жила въ довольствїи, романа тоже никакого не было—гдѣ же причина?

— Неужели и вы, Даша, собираетесь въ монастырь?— спросила я Феничкину, — точно, въ жизни нельзя сдѣлать много полезнаго, доброго?

— Ахъ, Христина Даниловна,—отвѣчала она тономъ жгучей грусти:— что же хорошаго въ жизни—кругомъ горе, нужда, страданія, пороки, пьянство, хотѣль бы помочь, передѣлать—не можешь, а тамъ—станешь себѣ раненько, съ спокойною душою, войдешь во храмъ, монашки, точно ангелы, поютъ—Бога славить, облако душистаго ладана вверхъ подымается, точно будто въ царствѣ небесномъ за живо очутишься, и никому ты зла никакого не сдѣлаешь, никого не обидишь и умрешь съ душою чистою, какъ у дитятіи.

Она говорила это какъ-то торжественно, спокойно, точно читала по книжкѣ, а большіе, задумчивые глаза глядѣли вдалъ, точно видѣли что-то дальше смерти, что-то лучезарное, прекрасное, чего не даетъ жизнь; блѣдное лицо еще больше поблѣднѣло, и вся она еще какъ будто больше выросла и вытянулась.

Я стояла передъ нею, какъ осужденная, низко опустивъ голову, и молчала. Возраженія не приходили ни въ голову, ни на языкъ. Я думала только: «Права была И. въ собраніи, говоря, что подборъ темъ въ моей программѣ настолько грустенъ, что, если только уроки эти будутъ выполнены какъ слѣдуетъ, ученицамъ остается одно: пойти и утопиться». Передо мною проходилъ рядъ моихъ уроковъ, когда въ самой во мнѣ болѣзненно скималось сердце при чтеніи Некрасова: «Въ полномъ разгарѣ страда деревенская», «У параднаго подъѣзда», «Уличныя сцены», Никитина «На пепелищѣ», Томаса Гуда «Пѣснь о рубашкѣ»; и сама я пла-кала, и плакаль со мною почти весь классъ,—а по окончаніи урока еще много минутъ парствовала тишина, точно каждый думалъ о чёмъ-то, замышлялъ что-то.

Я вспомнила свое возраженіе, что грустныя темы сильнѣе дѣйствуютъ на душу, больше заставляютъ задумываться, анализировать, больше развиваются, чѣмъ веселыя; на что она умно отвѣчала мнѣ, что не о веселыхъ темахъ говорить она, а о темахъ, вызывающихъ бодрость, вѣру въ свои силы, надежду быть полезнымъ въ жизни, даже при тѣхъ условіяхъ и средствахъ, въ которыхъ поставила судьба человѣка,—о такихъ темахъ, какъ, напр.: «Есть женщины въ русскихъ селеньяхъ» Некрасова, «Впередъ безъ страха и сомнѣнья» Плещеева и т. д.

«Неужели это вліяніе школы?—думала я, опустивъ еще ниже голову, и не находила въ себѣ возраженій...—а можетъ-быть, въ силѣ этого вліянія залогъ будущности школы?» спрашивала я себя; но и это возраженіе мало утѣшало... Что же дѣлать? Неужели сложить руки или тоже погрести себя заживо, чтобы «никому зла никакого не сдѣлать», «никого не обидѣть», какъ говорить Даша, и неужели не посыпать протеста этому намѣренію итти въ монастырь; да, можетъ-быть, я и предприму протестъ, только не теперь, а позднѣе, когда сумѣю спокойнѣе отнестись къ случившемуся, когда сумѣю подавить въ себѣ всѣ эти мучительныя сомнѣнія, или найду на нихъ отвѣты: но когда это будетъ и будетъ ли,—я сама не знаю.

Изъ девнника 14 января 1882 года мы узнаемъ о дальнѣйшей судьбѣ Феничкиной:

Была у меня сегодня Даша Феничкіна; 2 года, какъ она оставила школу, выйдя замужъ, но книги приходить перемѣнять аккуратно. Мы вышли вмѣстѣ: я—гулять, а Даша—домой. Разговорились... Ну, какъ живется, Даша, счастливо ли?

— Слава Богу! Надѣть работою только приходится мужу съ утра до вечера сидѣть,—меня жалѣть, а на самого тоже жалко смотрѣть—на магазины работаетъ, а магазины, знаете, какъ сами дорого берутъ, а портнымъ безъ вывѣсокъ самую дешевую цѣну даютъ. Работаешь, работаешь, еле на харчи заработкаешь. Прежде въ дѣвушкахъ, когда я на конфектной фабрикѣ была, мнѣ и въ голову не приходило, что портнымъ такъ трудно живется,—думала: вотъ счастливые—сидѣть себѣ дома, сами себѣ хозяева, никто не заставить, никто не накричить, шей себѣ да шей! А теперь, какъ приглядѣлась, не дай Богъ! Боюсь, какъ бы чахотку не получила!

— Ну, бѣдность еще дѣло поправимое,—сказала я въ утѣшеніе.—Вотъ если пить, кутитъ—это плохо! Дасть Богъ, разживетесь работою повыгоднѣе!

— Нѣтъ, ужъ насчетъ пьянства, слава Богу,—отвѣчала Даша:—а еще у меня горе—смѣется онъ надѣй нимъ: какъ приходитъ воскресенье, такая тоска на меня нападаетъ, просто до слезъ! Вѣдь семь лѣтъ, кажется, въ школу ходила и, должно-быть, ниразу не пропустила—привыкла. И дѣвушкой сложа руки не сидѣла, но, по крайней мѣрѣ, воскресеніе было у меня свободное. Пойдешь къ ранней обѣднѣ, придешь, напѣшься чаю, а тамъ въ школу. А теперь—нѣтъ—стряпаться нужно! Говорю ему какъ-то съ досады: «Ей Богу, знай я, что нельзя будетъ въ школу ходить, кажется, и замужъ не пошла бы!»

А онъ смѣется, говоритъ: что жъ, разведемся!

Я теперь вотъ что придумала: какъ получу отъ васъ книжку и дойду до самаго интереснаго мѣста, положу въ сундукъ до самаго воскресенія, а въ воскресеніе, какъ

отстряпаюсь часамъ къ 11-ти, такъ за нее, все какъ будто веселѣе!

На этомъ мы разстались съ Дашей до будущей перемѣны книги.

15 ноября 1878 г.

Мы шли сегодня съ Аней прибирать школу. На-встрѣчу намъ ѿхало нѣсколько солдатъ, а на противоположномъ тротуарѣ, шагая широкими шагами, шло человѣкъ въ ветеринаровъ. Я пристально взглянула на ихъ лица. Въ этихъ лицахъ, какъ показалось мнѣ, не было ни страха отвѣтственности, ни волненія передъ роковымъ вопросомъ, называемымъ «будущность», «карьера», ничего, кромѣ веселой рѣшимости отчаянія. Лица эти улыбались и говорили съ тѣмъ холоднымъ спокойствиемъ, отъ которого вчужѣ становится жутко: «Не все ли равно—такъ или иначе, развѣ жизнь, или что бы то ни было на свѣтѣ имѣеть для насъ значеніе?..» Я содрогнулась отъ этого впечатлѣнія и неожиданно почувствовала, что-то невыразимо тяжелое сдавило мнѣ грудь...

— Ахъ, Х. Д.,—сказала мнѣ Аня голосомъ, въ которомъ слышались слезы,—какъ мнѣ ихъ жалко, ветеринаровъ, вѣдь цѣлый полкъ туда пошелъ, что, какъ стрѣлять по нихъ будутъ?!? Мнѣ въ особенности жалко, какъ вспомню учителя своего Михаила Михайловича.

— Какого учителя?—спросила я.

Аня нѣсколько замялась...

— Видите,—продолжала она, послѣ минутнаго молчания,—маменька запретила мнѣ обѣ этомъ рассказывать, они говорятъ, что черезъ это и на меня стыдъ падетъ, но только я думаю, что вамъ я могу разсказать,—про васъ самихъ говорятъ то же, что про М. М.

Мы вошли въ школу, отворили шкафъ и стали перетирать доски. Мнѣ не хотѣлось вымогать отъ Ани ты откровенности, но, видимо, она сама рѣшила, что мнѣ можно все разсказать, и продолжала тихо, точно боясь, что стѣны услышатъ насъ:

— Еще до поступленія въ Александровскую школу и въ ваншу, я училась на Пескахъ, у М. М.—ветеринара. Учились насъ тамъ человѣкъ двадцать, любили мы его всѣ такъ, что ужъ и невозможно больше; и какъ было не любить—добрый, ласковый, а рассказывать что-нибудь начнетъ—просто заслушаешься, и такъ все умѣеть объяснить, что самые маленькие и тѣ поймутъ. Бѣдный, а учить даромъ. Кружка у него такая была—кто придетъ, сейчасъ туда бросаетъ копейку-двѣ, сколько можетъ. Ходили къ нему все бѣдные, такие же, какъ и онъ, ветеринары, а все-таки скоро набралось столько денегъ, что онъ столъ для насъ новый заказалъ—блѣлый, длинный, всѣмъ стало сидѣть просторно, и табуретки блѣлые на базарѣ купилъ, каждому по росту подстругалъ, чтобы ловчѣе сидѣть было. И онъ не одинъ училъ, каждый день еще по два человѣка приходило, и все разные и всѣ одинъ другого добрѣе, одинъ другого ласковѣе... Вдругъ какъ-то приходятъ два солдата, спрашиваются: гдѣ живеть М. М.? Еврейка, что въ томъ же дворѣ жила, указала. Они къ нему въ комнату, притворили двери, что-то тамъ переговорили съ нимъ, и онъ пошелъ съ ними изъ дома. На другой день приходятъ папенѣка домой и говорятъ: «А М. М. въ острогъ посадили!» Я въ слезы, а маменька спрашиваютъ: «За что?»—«За то, что школу неправильно держалъ, Лелюковы на него донесли».

«На другой день настъ съ маменькой къ генералу потребовали и кухарку съ нашего же двора,—ея дѣвочка тоже тамъ училась. Я-то еще побольше была, не такъ испугалась, а та маленькая, отъ земли не видно, плачетъ—боится, слова отъ нея добиться не могли.

«Ввели меня одну въ комнату. Генералъ поодаль сидѣть, а другой какой-то близко къ себѣ подозвалъ, разспрашивать и прямо въ глаза смотритъ, вѣрно, чтобы не солгала. А зачѣмъ же мнѣ лгать—все рѣшительно правду говорила. Спрашиваютъ: чѣму васъ М. М. училъ? А я говорю: прежде всего мы заповѣди у него выучили и «Отче нашъ», потомъ обѣ звѣряхъ разныхъ училъ, о птицахъ, о рыбахъ...

— А обѣ чѣмъ, онъ говорить, вамъ разсказывалъ?

— Разсказываль, говорю, что изъ чего дѣлается: изъ чего одежда дѣлается, изъ чего посуда, очень интересно рассказываль...

— А не читалъ онъ вамъ книжку «Братъ и сестра»?

— Нѣтъ, не читалъ!

«Потомъ маменьку позвали и слышу спрашивають: «Какія книги вамъ ваша дочь читала?» А маменька отвѣчаютъ: «Родное Слово», «Дѣтскій міръ».—Наша маменька грамотная, поэтому и могли такъ отвѣчать.

«Потомъ насъ отпустили, ничего, только маменька, отдавая меня въ Александровскую школу, строго-настрого запретила обѣ М. М. говорить, что я у него училась; поступила я прямо въ 3-й классъ и стала тамъ лучшею ученицей. Потомъ о вашей школѣ услышала и пошла, и мнѣ она очень понравилась—тоже всѣ такие добрые и ласковые, какъ у М. М., но начальница наша Антушевичъ, узнавши, что я хожу къ вамъ, призвала меня къ себѣ и уговаривала неходить, говорить: «Тебя эта школа до добра не доведеть, тамъ студенты учатъ—будешь вмѣстѣ съ ними въ тюрьмѣ сидѣть».

«Я сначала испугалась—вспомнила про М. М., а потомъ пришло воскресенье — скучно мнѣ — пошла! Возвращаюсь изъ школы, а у начальницы гости. Зовутъ меня въ гостиную. «Покажи тетрадь,—что писали въ школѣ?» Я принесла. Въ тетради было написано: «Воръ» Некрасова. Они стали читать, другъ другу передаютъ и ахаютъ, и все привались говорять: «Она непремѣнно крѣпостью кончитъ!» Совѣстно мнѣ, что всѣ на меня смотрятъ, да къ тому же еще вспомнила про М. М. и какъ сказали мнѣ «иди», я забилась въ чуланчикъ и плакала, плакала, всѣ глаза выплакала... Про М. М. мы слышали потомъ, будто его выпустили, и онъ только подъ опекой полиції состоитъ, а другіе рассказывали, будто бы, когда солдаты его вели, онъ въ рѣку бросился. Не знаю, только я его съ тѣхъ поръ не видала, а вспоминаю часто...»

Доски наши еще не были перетерты, но впечатлѣніе отъ простосердечнаго разсказа Аньюты въ комбинаціи съ

мыслью о вооруженныхъ солдатахъ и о сотняхъ жизней, висящихъ въ эту минуту на волоскѣ, охватили меня всю, я не въ силахъ была даже успокоить Аньюту относительно себя, слезы подступали и душили меня, я боялась перепугать ее этимъ волнениемъ и этими слезами, и, почти молча, подавши ей ключи, я выскочила на воздухъ; но воздухъ не освѣжилъ меня—голова горѣла, слезы продолжали душить. Возвратясь домой, я бросилась въ постель и долго безутѣшно рыдала; все, что накипѣло во мнѣ за послѣднее время противъ молодежи, противъ девиза ея знамени, противъ насилия и убийствъ, отошло куда-то далеко, если не исчезло, и осталось одно страданье и состраданье, которое я не могла выплакать никакими слезами...

15 января 1879 г., послѣ собранія, 12 час. ночи.

„Жива ли школа?“

(Конфиденціальный допросъ самой себѣ.)

Два мѣсяца я не бралась за дневникъ... Почему?.. Въ впечатлѣніяхъ, тревогахъ и страданіяхъ не было, кажется, недостатка! Ихъ было вволю, даже черезъ край... Почему же молчалось?! Мнѣ вспоминается въ отвѣтъ старинный романъ: «Не спрашивай меня, о чѣмъ душа моя тоскуетъ!» Теперь смыются надъ старинными романами и напрасно смыются: въ ихъ осужденной потомствомъ сентиментальности было чаще не только большие чувства, но и мысли, чѣмъ въ нынѣшихъ реальныхъ романахъ: «Я влюбился въ эту ножку, но вамъ, вѣрно, все равно,—я жъ ей крикнулъ изъ окошка,—ахъ, зачѣмъ я не бревно!..»

«Не спрашивай меня, о чѣмъ душа моя тоскуетъ!»—какъ много смысла въ этихъ словахъ... Какъ разсказать все то, чѣмъ ноетъ эта душа!.. Фактъ таковъ: произошелъ разрывъ съ дорогимъ тебѣ человѣкомъ... Какъ холоденъ этотъ фактъ, облеченный въ слова, какъ много можно подыскать въ отвѣтъ ему утѣшений: кто же виноватъ, что онъ придаетъ силу недоразумѣнію и не хочетъ выслушатьника-

кихъ объясненій! Что за дѣло до его выводовъ, если ты самъ чувствуешь себя правымъ!

„Развеселись, забудь, что было,
Чего ужъ нѣть—не будетъ вновь,
Все ль намъ на свѣтѣ измѣнило“ и т. д.

Кольцовъ.

И какимъ холодомъ вѣтъ отъ этихъ теоретическихъ, головныхъ разсужденій, какъ безсильны они уврачевать душу, и ноетъ она и сожалѣніемъ о прошломъ, о чемъ-то потерянномъ, безвозвратномъ, и грустью о настоящемъ, и такъ томительно думается: зачѣмъ случилось то, что случилось, и хочется разъясненій, оправданій, слезъ,—не жгучихъ слезъ обиды и отчаянія, а сладкихъ слезъ утѣшенія, примиренія, и чувствуется точно безсиліе передъ чьей-то чужой силой, чужимъ умомъ, способнымъ уничтожить тебя этой силой логики и искусно построенныхъ обвиненій... Неужели въ правдѣ нѣть силы самой по себѣ? Неужели и ей нужны адвокаты?.. Да, нужны! Иначе я не мучилась бы, какъ мучусь теперь—учрежденная, оскорблена и уничтоженная... Впрочемъ, оскорбляя и унижая дѣло, слившееся со мною нераздѣльно, онъ выгораживаетъ меня лично—щадить или жалѣть на прощенье—не знаю. Минутами я отыхаю на этихъ строкахъ, а минутами мнѣ хочется бросить ихъ ему, какъ милостыню и сказать:

„Но не бойтесь—я не ницій—
Спрячьте ваше подаяніе,
Я гнушаюсь сладкой пищей,
Полной яда состраданья!..“

Добролюбовъ.

Но ничего этого я ему, навѣрное, не скажу и больноѣ всего именно это «не скажу». Какъ смѣять отворачиваться другъ отъ друга люди, идущіе одною и тою же дорогою,—вѣдь это ошибка! Вѣдь это «своя своихъ не познаша!» Нѣть, я увижу его! Я заставлю себя выслушать, и если тогда... Что же тогда? Вѣдь это храбрость теоретическая, и врядъ ли хватитъ ее до порога двери, а тамъ, за этимъ порогомъ, при малѣйшей обидѣ—слезы безсилія, бабы дешевыя слезы, безсвязная рѣчь—и только.

Нѣть, лучше не видѣться — онъ требуетъ забвенія, и забвеніе должно быть, если не фактическое, то хоть кажущееся, но какъ тяжело оно, это кажущееся забвеніе, это насильственное умерщвленіе того, что просить жизни...

Но, умирая самъ для дѣла, онъ говоритьъ, что и оно умерло, что изсякли въ немъ всѣ тѣ источники жизненности, въ которые вѣрилъ онъ; но я не вѣрю этому, а сознавая собственное безсиліе подъ его нравственными ударами, высоко держу знамя своего полка, на которомъ годы начертали девизъ: «Безграницная преданность и вѣра въ дѣло!» Присмотрюсь же я къ нему, прислушаюсь — живо ли оно? Бѣется ли пульсъ и бѣется ли бодро, какъ у здороваго человѣка, или какъ у чахоточнаго, обреченного на смерть?..

Въ воображеніи моемъ проходятъ собранія бургундіи, оживленныя, какъ никогда: всѣ говорятъ, всѣ принимаютъ участіе; какъ это случилось — я не знаю; впрочемъ, можетъ быть, и знаю — вотъ этотъ колдунъ, который, не боясь ни личныхъ оскорблений, ни непріятностей, настойчиво, каждый разъ посыаетъ упрекъ учительницамъ въ безличности, въ индиферентномъ отношеніи къ дѣлу, въ молчаливости, и онъ достигъ своего, а я не достигла потому, что слишкомъ учтивничала и церемонилась. Вотъ эта новая участница Калмыкова. Какъ она попала сюда? Она — жена предсѣдателя судебнай палаты. И какой урокъ читаетъ она, — всѣ въ восторгѣ, всѣ апплодируютъ! Рѣчь идетъ о воздухѣ. А критики? Кандидатъ естественныхъ наукъ И. О. Фесенко, бакалавръ естественныхъ наукъ А. Д. Иванова, медики, ученица Герда — А. П. Грищенко. Она опять возвратилась къ намъ. Почему отстала? Дѣти одолѣли! Своихъ собственныхъ шестеро! Но теперь какъ-то вышелъ антрактъ. Пришла на собраніе, увлеклась и погибла, т.-е. вновь приняла участіе въ школьнѣхъ занятіяхъ... А эта Калмыкова — почему она такая умная, милая, простая?! Когда мнѣ еще до знакомства съ нею сказали, что она — племянница Корфа и воспитывалась у него въ домѣ, подъ его непосредственнымъ вліяніемъ, я вдругъ почувствовала себя съ нею въ родствѣ... Кстати о Корфѣ, вотъ что пишетъ онъ о нашемъ разрывѣ съ Миропольскими:

«Многоуважаемая Х. Д.! Душевно благодарю васъ за послѣднее письмо ваше. Благодарю васъ за искреннюю, неизмѣнную дружбу вашу ко мнѣ, побуждающую васъ отдать на судъ мой размолвку между вашею воскресною школою и Миропольскимъ. Вы знаете, что я люблю вашу школу и теперь, но вы знаете также, что я никогда не любилъ ея слѣпо, а потому, несомнѣнно, убѣжденъ въ томъ, что мои симпатіи къ школѣ отнюдь не отуманили моего разсудка; вопросъ второй, насколько правильно сообразить самый разсудокъ.

«Но вотъ, что говорить мой разсудокъ послѣ внимательнаго ознакомленія съ письмами Миропольского и протоколами школы: ни въ строкахъ, ни между строкъ нѣтъ ничего не только оскорбительнаго, но даже неделикатнаго по отношенію къ Миропольскому. Что касается самаго дѣла, то я безусловно согласенъ съ тѣмъ, что печатать отчеты въ распространенномъ педагогическомъ изданіи цѣлесообразнѣе, такъ какъ педагогическая пропаганда, къ которой и призвана каждая школа, коснется гераздо большаго числа лицъ».

И такъ, мы оправданы, а Миропольскій обвиненъ, и обвиненъ человѣкомъ, котораго я уважаю и которому онъ вѣрилъ, что доказываетъ одно мѣсто его письма: «Желалъ бы я услышать мнѣніе Корфа о моей статьѣ, очень желалъ бы» и т. д. И что же—легче ли мнѣ отъ этого? Нѣтъ! Мнѣ было бы легче только тогда, если бы онъ самъ себя обвинилъ.

Но возвращусь къ школѣ: мнѣ представляется мой классъ и пробный урокъ Д. «О воздухѣ» (они писали съ Колмыковой на конкурсъ—одна и та же тема). Мнѣ представляются оживленныя лица ученицъ—видно, что онѣ такъ и ловятъ каждое слово, что всѣ умственныя способности напряжены, чтобы понять, усвоить, не пропустить, а на боковой скамье рядъ учительницъ съ карандашами и бумажками—не менѣе внимательныхъ и слѣдящихъ, чѣмъ ученицы: вотъ и нашъ молодой бакалавръ—Иванова, и Бирюкова съ своими огромными, умными глазами, и Калмыкова, вся впившаяся въ урокъ, и спокойная и сосредото-

ченная Гришенко, и оживленная, способная Распопова, и съ дѣтски-серъезнымъ лицомъ Шевырева, и умница Ильяшева, и всѣ эти люди, безкорыстно сгруппировавшіеся у безкорыстнаго дѣла;—это ли благонамѣренные филисты, это ли материалисты-промышленники, это ли люди Молчалинского девиза? Нѣть! Нѣть! отвѣчали мнѣ и разсудокъ, и сердце. Нѣть! повторяло впечатлѣніе. Нѣть! утверждало сознаніе; и я чувствовала, какъ бьется здоровый пульсъ въ здоровомъ организмѣ, и гордо подымала опустившуюся голову, и точно звала кого-то на бой, и точно чувствовала въ себѣ присутствіе какой-то неотразимой силы, энергии и бодрости.
